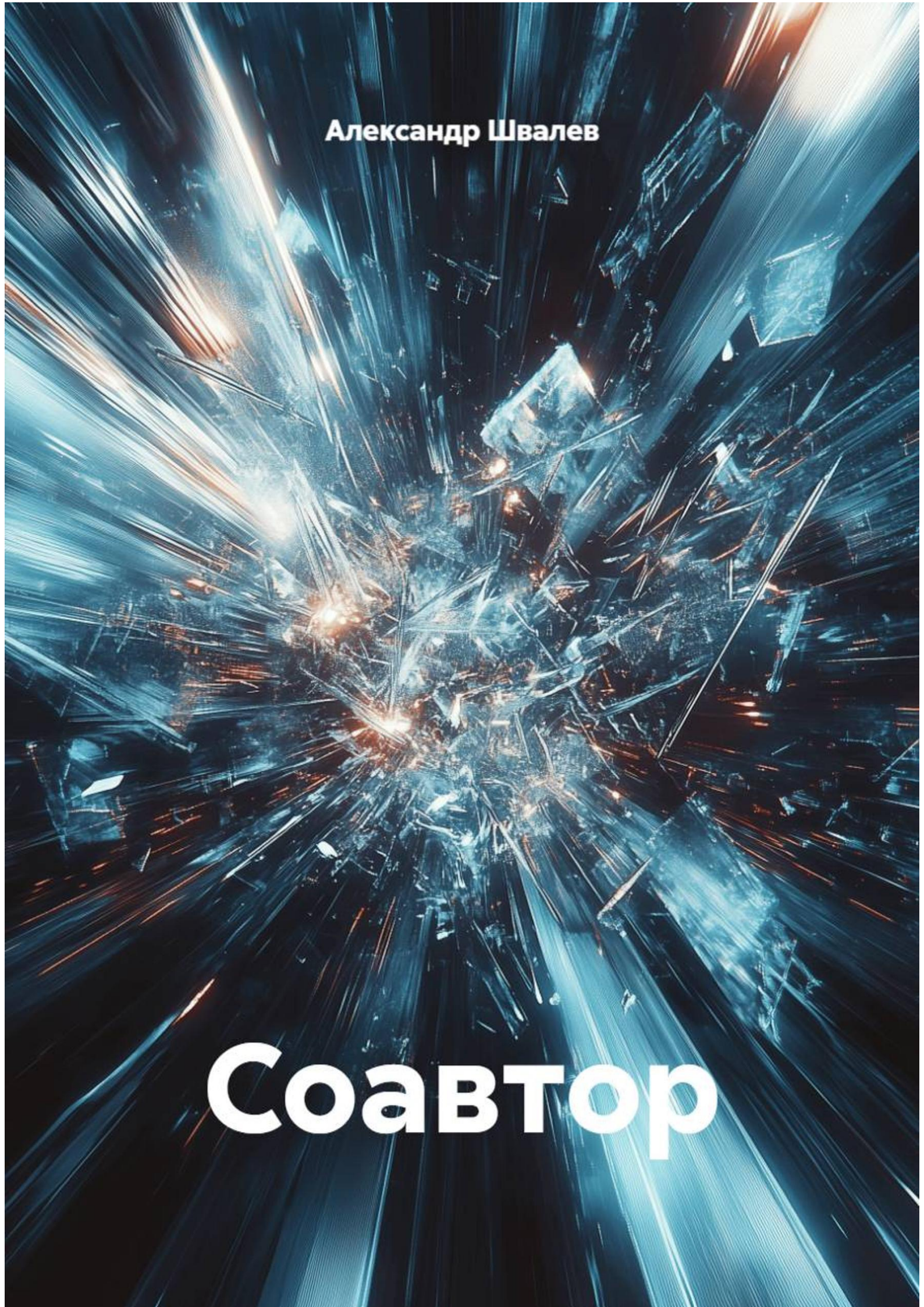




Александр Швалев

Соавтор

Александр Швалев

Соавтор

«Автор»

2026

Швалев А. Н.

Соавтор / А. Н. Швалев — «Автор», 2026

Матвей Олышанский тридцать семь лет воевал с собственным горлом. Заикание было его биографией: обходные маршруты, кассы самообслуживания вместо разговора с продавцом, немой ужас перед телефоном. Он давно смирился. А потом в одно майское утро горло вдруг перестало сопротивляться. Заикание исчезло — не после лечения, а будто его никогда и не было: ни в теле, ни в медицинской карте, ни в памяти собственной матери. Матвея не вылечили. Его отредактировали. Восьмой год на границе Солнечной системы нечто бесшумно правит человечество: снимает мигрени, старые страхи, лишние тревоги — щедро, безошибочно и совершенно не спрашивая согласия. Мир зовёт это Правкой и не может решить, благословение это или грабёж. Матвей — единственный, кто способен прочесть корректора как текст: разобрать его правки по буквам, подняться на орбитальную станцию у истока сигнала и, если получится, впервые в истории заставить всемогущего корректора услышать не жалобу, а вопрос.

© Швалев А. Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОРИГИНАЛ. Пролог. Лёд	6
Глава 1. Проба даты	8
Глава 2. Сорок минут	12
Глава 3. Анамнез	15
Глава 4. Возмущение 0,003	18
Глава 5. Вербовка	21
Глава 6. Дневник обид	24
Глава 7. Сны без тревоги	27
Глава 8. Богословие правки	30
Глава 9. Открытый файл	34
Глава 10. Порог	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Александр Швалев

Соавтор

Название: Соавтор

Автор(-ы): Александр Швалев

Ссылка: <https://author.today/work/619246>

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОРИГИНАЛ. Пролог. Лёд

Ты стоишь на берегу.

Тебе шесть лет, и валенки твои по игре вмёрзли в снег: вы договорились, что ты часовой и с места тебе нельзя, а Гриша сходит на ту сторону и посмотрит, чей это чёрный сарай торчит из ивняка и правда ли там живёт сторож с одним глазом. Грише восемь. У него коричневое пальто с воротником, который мама называет «цигейка», и это слово вы оба произносите с уважением, потому что оно похоже на имя зверя. Санки вы оставили наверху, у спуска, воткнув верёвку в снег, как флаг.

Январь стоит серый и простуженный. Небо одного цвета со льдом, лёд одного цвета с небом, и река различима только по тому, что она ровнее всего остального мира. Три дня назад была оттепель — ты этого слова ещё не знаешь, ты знаешь только, что с крыш капало и мама говорила «развезло». Потом ударило обратно. Гриша говорит, что лёд теперь двойной, как стекло в двери поликлиники, и поэтому крепче. Гриша всё говорит уверенно. Ему восемь.

Он идёт через реку, и идёт правильно — так, как сам тебя учил: не топая, скользом, чуть боком. Пальто его на сером льду — единственное коричневое пятно до самого того берега, и ты смотришь на это пятно, как часовой, которым ты и являешься. Ветер тебе в спину. Тишина такая, какая бывает только зимой на воде: не отсутствие звука, а его запас.

Звук, когда он приходит, совсем небольшой. Не гром, не выстрел — короткий, деловитый хруст, с каким мир меняет решение. Так хрустит сахар под ложкой. Пятно коричневого исчезает не сразу: сначала оно делается короче, будто Гриша решил сесть, потом — по плечи, и вот тогда он поворачивает к тебе лицо. Расстояние — шагов сорок. Лицо у него не испуганное. Удивлённое. Он что-то говорит — ты видишь пар, — но слов не слышно, ветер к тебе спиной, ветер уносит его слова на ту сторону, к сараю, сторожу, ивняку.

Надо крикнуть. Ты это знаешь сразу, знаешь всем телом: наверху, за спуском, дорога, по дороге шёл человек с собакой, вы его видели три минуты назад. Надо крикнуть одно слово. Ты даже знаешь какое: «беги». Не Грише — человеку. Беги. Три буквы. Ни одной из тех, о которые ты спотыкаешься, — ты уже знаешь про себя это слово, «спотыкаешься», логопед научил маму, а мама тебя. Бэ. Е. Ги. Слово лёгкое, как шарик.

Ты открываешь рот.

Семь секунд — это очень много. За семь секунд можно досчитать до семи. За семь секунд человек с собакой проходит десять шагов и не оборачивается. За семь секунд коричневое пятно на сером делается маленьким, потом просто серым. Всё это время в твоём горле, в точке между горлом и грудью, стоит слово «беги» — целое, готовое, лёгкое, как шарик, — и не идёт. Ты давишь. Оно стоит. Ты давишь так, что в глазах делаются красные нитки. Оно стоит, как стоит в двери шкаф, который занесли, а вынести нельзя. На четвёртой секунде ты понимаешь, что не крикнешь. Оставшиеся три ты просто стоишь и смотришь, и это, если хочешь знать, самое честное, что ты сделал за всю историю: ты смотрел.

Потом ты всё-таки кричишь — но это уже не слово, это просто звук, и он выходит легко, потому что в нём нет букв. На звук оборачивается человек с собакой. Дальше начинается то, что взрослые называют «всё произошло очень быстро», и они правы: очень быстро происходит всё, кроме семи секунд.

Тебя будут возить к врачам, и один из них — старик в подвальчике, пахнущем воском, — единственный не станет смотреть тебе в глаза. Он будет смотреть в горло. Туда, где стоит шкаф. Тебе будут говорить, что ты не виноват, так часто и так одинаково, что ты рано и навсегда поймёшь: словам, которые выходят у людей легко, верить нельзя ни одному.

А это — это просто зима, берег, серое небо. Это то место, откуда всё пошло и куда всё вернётся, и поэтому рассказывать надо отсюда, с самого начала, с самого лёгкого слова.

Ты сто... ты стоишь на берегу.

Глава 1. Проба даты

Каждое утро Матвей Ольшанский сдавал экзамен из четырёх слов.

Он просыпался в шесть сорок, лежал минуту с закрытыми глазами, слушая, как за стеной гудит грузовой лифт — дом был старый, лифт поднимал кому-то наверх чужую жизнь, — потом садился на кровати, ставил босые ступни на холодный пол и произносил вслух дату.

— Двенадцатое мая две тысячи восемьдесят первого года.

Дата была пробой. Как пробуют лёд, прежде чем ступить: не всей тяжестью, носком, с готовностью отдёргнуть ногу. В дате было всё, что он не любил: «двенадцатое» с его двойным «д», о которое можно споткнуться и упасть лицом в подушку согласных; «две тысячи», где «т» стояло, как турникет; и «восемьдесят первого» — длинное, шаткое, с проседающей серединой. Если дата выходила — день считался проходимым. Если нет, Матвей знал: сегодня следует избегать телефона, кассирш, соседа Павла Константиновича с его вопросами о погоде и вообще всех ситуаций, в которых человеческая речь предполагается спонтанной.

Сегодня дата вышла.

Она вышла так гладко, что Матвей не сразу это заметил, — как не замечаешь отсутствия боли, пока не вспомнишь, что она должна быть. Четыре слова прокатились по нёбу и упали в комнату, круглые и лёгкие, будто он всю жизнь только тем и занимался, что произносил даты вслух. Он посидел, глядя на свои ступни. Ступни были обыкновенные, сорок третьего размера. Всё остальное в мире тоже было обыкновенное.

— Хороший день, — сказал Матвей ступням.

«Хороший» на «х» никогда не было для него проблемой. Проблемой были «п» и «к» — взрывные, требующие, чтобы губы и горло договорились между собой за долю секунды, а они не договаривались тридцать семь лет. Ещё проблемой было собственное имя. Человек, который не может с гарантией произнести собственное имя, устраивает свою жизнь особым образом, и жизнь Матвея была устроена именно так — особым образом, продуманным до последнего маршрута.

Он знал, например, в каком из трёх ближайших магазинов кассы самообслуживания стоят у входа, а в каком — в глубине, за прилавком с сырами, где немолодая продавщица считала своим долгом спрашивать каждого: «Вам посоветовать?» Он знал, что в поликлинике на Гончарной можно записаться терминалом, а в диспетчерскую дома лучше писать, потому что диспетчер Люба не понимает пауз и начинает встревоженно алёкать, отчего пауза только растёт, вбирая в себя Любино «алё», и его стыд, и весь коридор молчания, в конце которого он обычно просто вешал трубку. Он знал обходные пути для сотни слов: не «пожалуйста», а «будьте добры»; не «кофе», а «американо» — странным образом иностранное слово шло легче, как будто чужой язык не знал про его горло того, что знал родной. Внутренний словарь синонимов, составленный за жизнь, был, вероятно, самым полным его научным трудом, только опубликовать его было негде.

Матвей встал, прошёл на кухню, поставил турку. За окном двор понемногу наполнялся звуками, у каждого из которых было расписание: в семь — скрежет ворот, в семь двадцать — собака со второго этажа, гладкошёрстная и истеричная, в половине восьмого — школьники. Он любил это время именно за расписание. Мир, идущий по расписанию, не задаёт неожиданных вопросов.

Работа ждала на столе — вернее, в столе, в плоском казённом терминале: сто сорок страниц технического регламента по вентиляционным системам орбитальных модулей, немецкий, срок в пятницу. Матвей переводил техническую документацию пятнадцать лет и был на хорошем счету: заказчики ценили его за точность и за то, что он никогда не звонил. Вся его профессиональная репутация помещалась в этой формуле — точен и не звонит, — и он находил её по-

своему честной. Регламенты, инструкции, спецификации: тексты, из которых заранее вынули всё живое, чтобы никто ни обо что не споткнулся. Идеальный жанр. Иногда, переводя очередное «недопустимо превышение проектных значений», он думал, что техническая документация — это речь человечества, из которой убрали заикание, и что он, возможно, единственный человек на свете, который переводит её с нежностью.

Кофе поднялся шапкой. Матвей снял турку в последний момент — маленькая ежеутренняя победа над физикой — и сел к терминалу.

До обеда он сделал одиннадцать страниц. Вентиляция орбитальных модулей была устроена разумно и скучно; в разделе о резервных контурах немецкий автор один раз позволил себе слово «атмосфера» в непроектном значении — «создать атмосферу уверенности при отказе основного контура», — и Матвей две минуты сидел над этой фразой с удовольствием кладовщика. В ста сорока страницах регламента это было единственное место, где текст проговорился, что писал его человек. Он перевёл бережно, сохранив оговорку, хотя знал, что редактор на той стороне, скорее всего, вычистит.

В обед он вышел за хлебом — в магазин с кассами у входа — и по дороге обратно встретил Павла Константиновича.

Павел Константинович был пенсионер, вдовец и стихийное бедствие. Он существовал в подъезде как метеоусловие: его нельзя было отменить, можно было только переждать или обойти. Разговор с ним требовал от Матвея примерно того же, чего требует от обычного человека переход горной реки вброд: рассчитать траекторию, выбрать камни — короткие реплики, кивки, «да» и «угу», — и ни в коем случае не отступить в открытую воду развёрнутого предложения.

— Матвей! — обрадовался Павел Константинович так, словно они не виделись год. — Слыхал? Опять он чего-то там подкрутил. У Марса. Вчера передавали.

«Он» в устах Павла Константиновича, как и в устах всего человечества последние семь лет, означал одно и то же. Объект на границе солнечного дома. Трёхкилометровую область пространства, в которой физика выполнялась слишком хорошо. Газеты звали его Редактором — прозвище прилипло после истории с астероидом, когда стало ясно, что он не стреляет, не толкает и не уничтожает, а именно поправляет, как поправляют запятую: было чуть неверно — стало верно, и попробуй докажи, что раньше было иначе.

— Угу, — сказал Матвей, выбирая камень поближе к двери.

— Орбиту какую-то спутниковую выровнял. Учёные говорят — деградировала. А я тебе так скажу... — Павел Константинович поднял палец, и Матвей понял, что брод сегодня глубже обычного. — Я тебе так скажу: следит он за нами. Как учитель за диктантом. Ходит между рядами и смотрит, у кого что. Пока только помарки исправляет. Пока, — со значением повторил он, — помарки.

— Возможно, — сказал Матвей.

«Возможно» было хорошим словом, надёжным, на «в». Он кивнул, приподнял пакет с хлебом в знак того, что хлеб не ждёт, и ушёл в подъезд, унося в спине довольный голос Павла Константиновича, который сообщал уже лестнице, что главное — писать без ошибок, тогда и исправлять нечего будет.

Дома Матвей доделал ещё шесть страниц, поужинал и, как всегда по вечерам, достал диктофон.

Диктофон был старый, офлайновый, размером с ладонь — он принципиально не покупал новых, пишущих в сеть. На диктофон наговаривалась книга. Книга называлась — пока, условно, уже одиннадцать лет условно — «Соучаствующий язык», и в академическом мире она была похоронена раньше, чем написана: теорию Ольшанского разобрали на конференции в шестьдесят шестом году за сорок минут, вежливо и насмерть. Теория утверждала простую и непозволительную вещь: язык не описывает реальность, а участвует в её сборке. Грамматика

— не карта мира, а часть его несущей конструкции. Рецензенты писали: «мистика в терминологической упаковке», «лингвистический витализм», один остроумец — «гипотеза Ольшанского опровергается тем, что о ней можно связно рассказать». Матвей ушёл из института сам, не дожидаясь, пока попросят, и с тех пор наговаривал книгу по вечерам на диктофон — не для печати уже, для порядка. Есть люди, которые не могут не достроить дом, даже если знают, что жить в нём никто не будет.

Наговаривал — потому что писать её было нельзя. Это он понял давно: письменный текст врал. На письме его фразы выходили гладкими, уверенными, чужими — фразы человека, никогда не стоявшего перед словом, как перед прорубью. А книга была именно об этом: о том, что сопротивление среды — не помеха речи, а её условие; что смысл рождается не вопреки трению, а трением; что язык, который ничего не стоит говорящему, ничего и не весит. Такое можно было только наговаривать — с запинками, которые сами были аргументами, вмонтированными в изложение. Он иногда думал, что его заикание — единственный рецензент, который остался на его стороне.

Матвей нажал запись, посмотрел на всегдашнюю трещину на потолке и начал с того места, где остановился вчера, — глава о повторе.

— Повтор считается избыточным, — сказал он. — Ошибкой стиля. Между тем повтор — единственное средство языка сказать: я всё ещё здесь. Ребёнок, зовущий мать, не ищет синонимов.

Он говорил о повторе, о рефрене, о молитве, которая вся построена на возвращении одних и тех же слов, потому что её задача — не сообщить информацию, а удержать говорящего на поверхности; о том, что фольклор троекратен не по бедности, а по мудрости; о том, что человек, повторяющий имя умершего, занимается не коммуникацией, а строительством — держит в языке место, которое реальность уже освободила. Он говорил про Гришу, не называя Гришу, — как всегда. Одиннадцать лет книга шла по кругу над одной прорубью, старательно её не упоминая, и в этом тоже была её композиция.

Он говорил долго. Дольше обычного. Что-то было не так — что-то было слишком хорошо, — но мысль шла, и он не хотел останавливать её ради смутного беспокойства, как не останавливают лодку, чтобы разглядеть воду.

Когда он выключил диктофон, на счётчике стояло сорок одна минута.

Матвей смотрел на цифры. Обычная вечерняя запись занимала пятнадцать, двадцать минут — не потому, что мыслей было на пятнадцать, а потому, что на большее не хватало горла: наговаривание было физической работой, как гребля. Сорок одна минута. Он отмотал на начало и стал слушать.

Из динамика говорил человек с его голосом. Тембр был его, дыхание его, интонация его — привычка проваливать конец фразы, как будто извиняясь за то, что фраза была. Всё было его, кроме одного. Человек не запнулся ни разу. Сорок одну минуту он шёл по «п» и «к», по «двенадцати», «повторам» и «прорубям» — слово «прорубь» там было, он его произнёс, впервые за годы произнёс вслух, — и ни одно слово не встало у него в горле, ни одно.

Матвей переслушал запись трижды. Потом пошёл в ванную, включил свет и встал перед зеркалом.

Из зеркала на него смотрел немолодой человек с помятым лицом, которому предстояло сейчас сделать самую странную вещь в жизни: попытаться заикнуться.

— П-п... — начал он.

Получилось притворно, как у актёра. Тело не подхватило. Он знал своё заикание изнутри, как знают собственную походку: знал, где оно живёт — не в губах, ниже, в той точке между горлом и грудью, где слова проходят таможеню. Сейчас он прислушивался к этой точке и не находил её. Таможня была снята. Слова шли через границу, которой больше не существовало, и от этой свободы у него подгибались колени.

— Двенадцатое мая, — сказал он зеркалу. — Две тысячи восемьдесят первого года. Матвей. Матвей Олышанский. Прорубь. Прорубь. Прорубь.

Слова падали одно за другим, гладкие, круглые, ничьи. Человек в зеркале был бледен и говорил безупречно. Где-то очень далеко, за орбитами всех планет, на границе, где солнечный ветер выдыхается в межзвёздную тьму, висела в пространстве область идеальной тишины, о которой Матвей Олышанский в эту минуту не думал вовсе.

Он думал о том, что у него украли. Он ещё не знал — что. Он знал только, что вор оставил всё на месте лучше, чем было, и что это — самая чистая работа из всех возможных: так крадут только у тех, кто потом сам стыдится заявить о краже.

За стеной прогудел лифт. День кончился по расписанию.

Глава 2. Сорок минут

Ночью Матвей не спал и занимался инвентаризацией.

Он лежал в темноте и перебирал своё заикание, как перебирают вещи пропавшего без вести: вот это его, и это его, и вот это тоже. Метод мягкой атаки — когда первый звук слова начинаешь на выдохе, почти шёпотом, обманывая горло, подсовывая ему слово контрабандой. Ему было восемь, логопеда звали Инна Марковна, у неё был кабинет с зелёными шторами и картонный клоун на стене, и клоун этот, вспоминал теперь Матвей, смотрел на него все два года занятий с выражением человека, который знает, чем всё кончится. Метод замедленной речи, десять лет: говори, как будто идёшь по льду. Так и было сказано — по льду, — и никто в кабинете не понял, что произошло с мальчиком, почему он встал и вышел. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Пение — заикающиеся не заикаются в пении, и мать полгода водила его в хор, где он выводил «во поле берёза стояла» чистым, свободным, издевательски гладким голосом, а потом на улице не мог попросить у неё мороженое. Аппарат задержанной обратной связи, наушники, в которых собственный голос догонял тебя с опозданием в долю секунды, — техника, музыка, гипноз, таблетки, дельфины. Дельфины тоже были — в четырнадцать, по путёвке, мать верила в дельфинов больше, чем в Инну Марковну.

Ещё была церковь — мать водила, когда ему было девять, после Гриши. Не к службе, к какому-то странному старику в подвальчике, который говорил, что заикание — это не наказание, а «особый ритм, который мир ещё не научился слушать». Матвей не понял тогда ни слова, но запомнил запах воска и то, как старик смотрел ему не в глаза, а в горло — слушал заранее.

Всё это было его. Тридцать семь лет работы, целая индустрия, выстроенная вокруг одной точки между горлом и грудью. И вся она за один день стала музеем.

Мать договаривала за него слова. Это он тоже достал из темноты и рассмотрел. Она делала это из любви — из чистой, беспримесной, невыносимой любви: он вставал на слове, как на пороге, а она распахивала дверь изнутри — «...компот?», «...в кино?», «...математичка?» — и была права почти всегда, вот что самое страшное, она угадывала с точностью девяносто процентов, и к пятнадцати годам Матвей понял, что домашние разговоры можно вести вообще без его участия: достаточно начинать слова, остальное доскажут. Возможно, думал он теперь, глядя в потолок, вся его теория выросла отсюда — из кухни, где язык буквально собирал реальность без него, поверх него, за него. Человеку, за которого договаривают, ничего не остаётся, кроме как стать лингвистом. Или замолчать. Он совместил.

В половине третьего он встал и позвонил в неотложку.

Он сделал это прежде, чем осознал, что делает, — и уже слушая гудки, понял, что происходит невозможное: он звонит. Сам, добровольно, ночью, голосом. Тридцать семь лет телефон был для него инструментом пытки, изобретённым специально: собеседник, который тебя не видит, не может дождаться, пока ты домучаешь слово, — для него твоя пауза неотличима от обрыва связи, и он начинает алёкать, и каждое «алё» падает в паузу, как камень в колодец, удлиняя её на глубину падения. А сейчас он стоял босиком на кухне, держал трубку и не боялся. Страх не было. На месте страха была гладкая поверхность, и по ней, как по катку, его несло прямо на женский голос, который сказал:

— Неотложная, слушаю.

— Здравствуйте, — сказал Матвей. — Со мной что-то не так. Я здоров.

Пауза на этот раз случилась на том конце.

— Мужчина, — сказала диспетчер тоном человека, повидавшего всё, но не это, — уточните. Что у вас болит?

— Ничего. В том-то и дело. У меня тридцать семь лет было заикание, тяжёлая форма, логоневроз. Вчера оно исчезло. Полностью. За один день.

— Так, — сказала диспетчер. — И вы хотите...

— Я хочу понять, что со мной. Так не бывает. Неврологическое расстройство такой давности не проходит за сутки, это не насморк, это архитектура. Понимаете? Это как если бы у дома за ночь исчезла несущая стена, а дом стоит.

Он говорил — и слышал себя со стороны: складно, стройно, с придаточными. Три часа ночи, кухня, человек в трусах произносит слово «архитектура» без единой запинки и жалуется на это в неотложку. Диспетчер помолчала.

— Мужчина, — сказала она мягче, — вас сейчас что-нибудь беспокоит физически? Боль, головокружение, онемение?

— Нет.

— Речь, как я слышу, у вас хорошая.

— В этом и жалоба, — сказал Матвей.

— Знаете что, — сказала диспетчер после паузы, и в голосе её появилось то сострадательное терпение, каким разговаривают с людьми, у которых горе не подходит ни под одну графу, — вы запишитесь с утра к неврологу. Планово. Хорошо? Если ночью станет хуже...

Она осеклась, видимо, сообразив, что «хуже» в данном случае означало бы «лучше», и торопливо пожелала ему здоровья. В трубке щёлкнуло. Матвей постоял с гудками возле уха. Первый свободный телефонный разговор в его жизни состоялся, длился четыре минуты и был абсолютно безумен по содержанию. Где-то внутри этого факта пряталась формула всей его будущей жизни, но разглядеть её в три часа ночи он не мог.

Он сварил кофе — какая теперь разница — и сел к столу с диктофоном.

До рассвета он ставил эксперименты. Наука была его способом не сойти с ума, и он делал то единственное, что умел: наблюдал, фиксировал, менял условия. Скороговорки — все проклятые «на дворе трава», об которые он в детстве разбивался, как о рифы, — проходились теперь на любой скорости, хоть шёпотом, хоть криком. Чтение вслух незнакомого текста — он открыл регламент по вентиляции и прочитал страницу по-русски и страницу по-немецки: чисто. Волнение — он вспомнил конференцию шестьдесят шестого года, зал, остроумца во втором ряду, вызвал в себе то давнее жжение стыда и на его пике произнёс: «Гипотеза Ольшанского». Гладко. Усталость, алкоголь — в шкафу нашлась початая рябиновая, он выпил три рюмки быстро, натошак, зная, что раньше от спиртного речь сыпалась первой. Речь не посыпалась. Речь стояла, как новый мост, — сколько ни прыгай.

К пяти утра на листе бумаги был протокол: двенадцать условий, двенадцать «нет». Он смотрел на протокол, и профессиональная часть его сознания, та, что пятнадцать лет переводила спецификации, отметила странную вещь. Результат был слишком чистым. В любом реальном эксперименте бывает шум — дрогнувшее слово, смазанный слог, хоть что-нибудь. Здесь шума не было вовсе. Двенадцать из двенадцати. Так не выздоравливают. Так — исправляют.

Слово пришло само, и он его записал на полях протокола, ещё не понимая, что подписывает: исправлено.

Утром — он так и не лёг — Матвей провёл пробу даты. Стоя посреди кухни, серый от бессонницы, он произнёс:

— Тринадцатое мая две тысячи восемьдесят первого года.

И дата вышла, разумеется, вышла, выкатилась круглая и лёгкая, и он впервые в жизни понял, что проходимый день может быть хуже непроходимого. Раньше экзамен из четырёх слов имел два исхода, и оба были его: его победа или его поражение, но его. Теперь исход был один, гарантированный, отличный — и чужой. Экзамен, на котором нельзя провалиться, перестаёт быть экзаменом. Лёд, который не может треснуть, перестаёт быть льдом; по нему уже не идут — по нему просто перемещаются.

Он позвонил матери. Он сделал и это тоже — второй звонок за ночь и утро, больше, чем за иной год, — потому что оставался последний человек, который помнил его речь дольше, чем он сам.

— Мама. Это я.

— Матюша? — испугалась мать: он не звонил ей никогда, они переписывались. — Что случилось?

— Ничего. Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Просто послушай, как я говорю.

Он прочитал ей начало «Лукоморья» — их с Инной Марковной боевое задание тридцатилетней давности, текст, на котором картонный клоун насмотрелся такого, что должен был бы поседеть. Дуб зелёный прошёл как по маслу. Златая цепь не встретила сопротивления. Мать выслушала до кота учёного и сказала растроганно:

— Красиво читаешь. Ты всегда красиво читал вслух, с самого детства. Учительница ваша, Вера Андреевна, помнишь, всегда тебя вызывала на открытых уроках...

Матвей стоял и слушал, как у него отнимается спина.

— Мама, — сказал он осторожно, как ступают на носок. — Меня не вызывали на открытых уроках. Меня никогда не вызывали читать вслух. Инна Марковна. Зелёные шторы, клоун на стене. Вторник и пятница, два года. Хор. Дельфинарий, мне четырнадцать, ты сказала — дельфины чувствуют. Мама. Я заикался.

В трубке было слышно, как на том конце города мать переставила что-то на плите.

— Что ты такое выдумываешь, — сказала она наконец с той особенной материнской интонацией, в которой тревога прикидывается досадой. — Какой клоун? Ты никогда не заикался, Матюша. Что за фантазии с утра. Ты не заболел?

Он поговорил с ней ещё минуты две — о давлении, о раскаде, — аккуратно, как разговаривают через стекло, попрощался и сел на табурет посреди кухни.

Вот теперь ему стало по-настоящему страшно, и страх этот был нового сорта, не горловой — просторный, тихий, во весь объём мира. До этой минуты он думал, что произошло с ним: что-то починило его, вылечило, взломало — но его, вчерашнего, сорокаторёхлетнего, с клоуном и дельфинами в анамнезе. Теперь выяснялось, что чинили не его. Чинили анамнез. Мать не лгала и не забыла — материнская память о детских бедах не забывает ничего, она из другого материала. Мать помнила правильно. Просто правильное стало другим. Где-то — не в нём, снаружи, в том слое мира, где хранится бывшее, — некто прошёлся по его детству и вынес клоуна, шторы, хор, дельфинов, вторники и пятницы, всю индустрию, весь музей, — вынес аккуратно, не задев стен, и запер за собой дверь, которой теперь тоже никогда не было.

Оставался он сам. Единственный экземпляр, в котором опечатка ещё значилась. Он сидел на табурете, смотрел на диктофон — старый, офлайновый, набитый годами заикающихся черновиков, — и одна мысль медленно поднималась в нём со дна, как поднимается из-под льда воздух: проверить плёнки. Прямо сейчас. Услышать себя настоящего, вчерашнего, хоть одну запинку, хоть одну.

Он не решился. Он сказал себе, что сначала — врач, снимки, документы, объективные данные; что паника — плохой методолог; что плёнки никуда не денутся. Он взял с полки страховую карту, нашёл на терминале ближайшую неврологию с приёмом без записи и стал одеваться — быстро, не глядя в зеркало.

Плёнки он оставил на столе. Ему хотелось верить, что они его дождутся.

Глава 3. Анамнез

Неврологу было лет тридцать, звали его Дмитрий Олегович, и первые десять минут он смотрел на Матвея так, как смотрят на ребус, напечатанный с опечаткой: решение есть, но условие подкачало.

— Итак, — сказал он, сцепив пальцы поверх пустого пока протокола. — Жалобы.

— Отсутствие жалоб, — сказал Матвей. — Внезапное. Позавчера у меня была тяжёлая форма логоневроза с шестилетнего возраста. Вчера утром она исчезла. Полностью, за одну ночь, без терапии.

Он подготовился к этому разговору, как готовился когда-то ко всем разговорам, — письменно. В папке лежала хронология: возраст манифестации, формы, клиники, методики, две госпитализации в подростковом возрасте, список препаратов. Он выложил папку на стол. Дмитрий Олегович полистал, взглядывая поверх листов на пациента, который сидел перед ним и говорил длинными периодами, свободно артикулируя слова «манифестация» и «клоническая форма».

— Тридцать семь лет, говорите.

— Тридцать семь.

— И вчера утром.

— Позавчера вечером я наговорил на диктофон сорок одну минуту без единой запинки. Вчера провёл двенадцать проб — скорость, шёпот, чужой язык, алкоголь, стресс. Ноль. Протокол на третьей странице.

Дмитрий Олегович нашёл третью страницу. По мере чтения лицо его совершало медленную эволюцию от вежливого к заинтересованному — Матвей знал этот переход: так смотрели на его теорию первые полчаса, пока не понимали, куда она ведёт.

— Скажу честно, — сказал врач наконец. — Спонтанные ремиссии логоневроза описаны. Но во взрослом возрасте, при таком стаже, за сутки, до полного исчезновения... — Он побарабанил пальцами. — Давайте так. Сделаем всё по-взрослому. Функциональную диагностику, полную. Посмотрим, что у вас там на самом деле.

На самом деле у Матвея там не было ничего.

Он лежал в белой трубе томографа, слушал её стук — машина работала с перебоями ритма, с запинками, и в этом была неучтённая ирония: последний заика в кабинете, — а потом сидел в опутанном датчиками кресле, читал с экрана слоги, тянул гласные, молчал по команде. К концу второго часа Дмитрий Олегович уже не заполнял протокол. Он сидел перед мониторами и смотрел на функциональные карты с выражением человека, который заказал ребус посложнее и получил чистый лист.

— Понимаете, в чём дело, — сказал он, разворачивая экран к Матвею. — Логоневроз с таким стажем — это не привычка. Это архитектура. — Матвей вздрогнул: слово было его собственное, ночное, сказанное диспетчеру. — За тридцать лет мозг перестраивается: компенсаторные контуры, характерная асимметрия активации при речевой нагрузке, устойчивые паттерны. Это видно. Это всегда видно — даже у тех, кто прошёл успешную терапию и десять лет чисто говорит. Шрамы, грубо говоря. Речь снаружи гладкая, а внутри — следы строительства.

— А у меня?

— А у вас, — Дмитрий Олегович откинулся, — мозг человека, который никогда не заикался. Не «вылечился». Никогда не начинал. Нет шрамов. Нет компенсаторики. Нет следов. Понимаете разницу? Если бы вы сейчас выздоровели — я бы увидел стройку, с которой ушли рабочие. Я вижу поле, на котором никогда не строили.

Матвей молчал. Молчать он умел лучше всего на свете — это была его специальность, тридцать семь лет стажа. Врач истолковал молчание по-своему и мягко добавил:

— Есть ещё вариант, что заикания не было. Такое случается — ложные воспоминания, конфабуляции, особенно если...

— На второй странице, — сказал Матвей, — выписки. Две госпитализации. Диспансерный учёт. Запросите архив.

— Запрошу, — сказал Дмитрий Олегович. — Прямо сейчас и запрошу.

Архив пришёл через двадцать минут, пока Матвей пил воду из кулера в коридоре, и с этого архива, собственно, началась его новая жизнь, хотя понял он это позже.

Документы существовали. Все до единого: карта из детской поликлиники, две выписки из стационара, диспансерная учётная форма — те же даты, те же учреждения, те же фамилии врачей, чьи подписи Матвей помнил, потому что в детстве, сидя в очередях, изучал свою карту, как изучают собственное дело. Всё было на месте. Кроме диагноза.

Согласно карте, шестилетний Ольшанский М. А. наблюдался у невролога по поводу нарушений сна — «ночные страхи, снохождение», — возникших после января две тысячи сорок четвёртого года, причина в анамнезе обозначена скупой: «психотравма (гибель брата)». Госпитализации значились обе, теми же датами — «астено-невротический синдром». Инна Марковна существовала: логопедический кабинет, вторник и пятница, два года, — но в её записях стояло «дислалия, коррекция звукопроизношения: [р], [л]», обычная детская картавость, успешно исправленная. Хор был. Дельфины были — «курс анималотерапии по поводу тревожности». Скелет его детства стоял нетронутый, каждая кость на месте, каждая дата, каждая подпись, — из него вынули только одно: заикание. Аккуратно, по всем документам сразу, не порвав ни одной страницы. Психотравма осталась. Страхи остались. Гриша — Матвей смотрел на слово «гибель брата», набранное казённым шрифтом, и слово было единственным во всём архиве, что не тронули, — Гриша остался. Убрали только застрявший крик.

— Ну вот видите, — сказал Дмитрий Олегович с облегчением, которое честно пытался скрыть. — Картавость. Эр и эль. Это, конечно, тоже речевое, немудрено, что в памяти могло... э-э... укрупниться. Детская память вообще...

Он говорил ещё что-то — про тревожный радикал, про то, как травма ищет форму, про хорошего специалиста, не невролога уже, другого профиля, — говорил доброжелательно и складно, и Матвей слушал его с почти исследовательским интересом, потому что присутствовал при рождении официальной версии самого себя. Версия была превосходна. Она объясняла всё: и «воспоминания» о заикании (укрупнившаяся картавость плюс травма), и чистые снимки (а что им быть нечистыми), и даже его ночной звонок в неотложку (тревожный радикал). Версия была гладкая, без единого шва. Совсем без швов, подумал Матвей. Как моя вчерашняя речь.

— Скажите, — перебил он вежливо, — а бумажный архив? Не сканы — бумага. Первичные карты. Они хранятся?

— После оцифровки? — Дмитрий Олегович пожал плечами. — По регламенту уничтожаются. Года с шестидесятого всё в едином контуре... А зачем вам?

— Незачем, — сказал Матвей. — Уже незачем.

Он понял то, что хотел понять. Правка прошла по единому контуру — по слою мира, где хранится бывшее в оцифрованном, связанном, достигаемом виде. Слово нашлось само, пока он ехал домой, глядя в окно на майский город: задним числом. Его исправили задним числом — как исправляют дату в договоре, — и мир, подключённый к единому контуру, согласился с исправлением мгновенно и весь сразу, потому что мир давно уже помнил не сам, а через контур.

Диктофон он увидел, едва вошёл в квартиру, — тот лежал там же, на столе, где Матвей оставил его утром, набитый годами заикающихся черновиков. Он не стал ни раздеваться, ни ставить чайник. Взял аппарат, открыл список записей, выбрал наугад прошлогоднюю, июльскую, и нажал воспроизведение с той осторожностью, с какой ступают на носок.

Из динамика полез голос — его голос, заикающийся, задышающийся, настоящий. Проплогодный Матвей брал слово «метафора» со второго захода, буксовал на «прецеденте», выгребал и шёл дальше, и это была самая прекрасная речь, которую нынешний Матвей слышал в жизни.

Он слушал и плакал. Впервые с шести лет. Обильно, безобразно, со всхлипами, совершенно не заботясь о том, как это звучит.

Плёнки уцелели. Правка, дотянувшаяся до архивов, до материнской памяти, до подписей тридцатилетней давности, — до диктофона не дошла. Почему? Он заставил себя не отвечать сразу, потому что вариантов было три, и они не были равны: не мог. Не счёл нужным. Ещё не добрался. От того, какой из трёх верен, зависело всё, — а данных не было ни на один.

Матвей поймал себя на том, что думает вслух. Привычка была новая, двухдневная — раньше мысль вслух стоила слишком дорого, он всю жизнь думал письменно, с карандашом. Теперь слова ничего не стоили, и он тратил их, как тратят чужие деньги.

— Мама помнит меня заикающимся — и не помнит. Потому что мама в контуре. Её память — в контуре. А диктофон — нет. Он не в контуре. Он...

Он замолчал. В голове складывалась картинка, которой он пока не доверял: мир был не сплошным. Он был сетью. Ниточки шли от человека к человеку, от человека к документу, от документа к архиву, от архива к облаку. Где ниточки были толстыми, частыми, многократно переплетёнными — там правка прошла, как по шоссе. Где связь была одна, старая, никем не цитированная — там что-то её задержало.

Диктофон был один. Никто, кроме него, не слушал эти плёнки. Никто не пересказывал, не цитировал, не переписывал. Они годами лежали в ящике стола, как письмо, положенное в стену, а не в почтовый ящик. Не дошло — или пока не дошло. Дальше мысль не шла: у неё не хватало данных, и Матвей чувствовал это, как чувствует переводчик подстрочник, к которому не приложили оригинала. Но что-то тут было. Какая-то сеть. Он записал на полях сознания: проверить, — ещё не зная, что на проверку уйдут месяцы.

Вечером пришло письмо от матери — она, встревоженная утренним звонком, полезла в семейный облачный альбом и прислала видео с подписью: «вот, полюбуйся, какой ты у меня выдумщик».

Актный зал школы, ему восемь, конкурс чтецов. Матвей помнил этот день телесно, как помнят ожог: как первое же «б» в «Буря мглою» разрослось и заслонило небо, как зал сначала ждал, потом зашуршал, потом кто-то засмеялся в среднем ряду — один смешок, но он до сих пор мог бы указать место. На экране мальчик в белой рубашке вышел к краю сцены, объявил — «Александр Сергеевич Пушкин. Зимний вечер» — и прочитал стихотворение от начала до конца ровным, звонким, хорошо поставленным голосом. Зал похлопал. Голос за кадром — материнский — сказал кому-то гордо и тихо: «Всегда красиво читает».

Матвей досмотрел, останавливая кадр, вглядываясь в это спокойное, не знающее проруби горло. Мальчик был он — и мальчик был лучше него: второе издание, исправленное. Нет, поправил он себя. Сокращённое. Из мальчика убрали одну строку, самую трудную, — и вместе с ней что-то ещё, чему Матвей не находил слова, но видел отсутствие: мальчик читал прекрасно и не значил ничего. Между словами и им не происходило борьбы. Стихотворение проходило сквозь него без трения — и потому без следа.

Он выключил экран, вернулся к столу, к диктофону, где дышал и спотыкался настоящий, и понял, что теперь знает, кто он. Не тот, что в контуре. Тот, что на плёнках. Единственный уцелевший экземпляр, тираж одна штука.

Он взял чистый лист и написал сверху — от руки, шариковой ручкой, вне всякого контура:

«Опись имущества».

Ниже он начал составлять список того, что у него ещё оставалось.

Глава 4. Возмущение 0,003

Вера Ланге не любила слово «Редактор» и пользовалась им ежедневно.

В служебной номенклатуре объект значился как АГФ-1 — аномалия гелиопаузной физики, первая и единственная, — но номенклатура проиграла прозвищу за одну неделю ещё в семьдесят четвёртом, и Вера, писавшая тогда диссертацию о турбулентности солнечного ветра, проиграла вместе с ней. Человечество назвало вещь по единственному действию, которое смогло у неё разглядеть. Вещь исправляла.

Семь лет назад станция дальнего мониторинга «Гюйгенс-4» передала пакет данных, который дежурный аналитик пометил флагом «ошибка калибровки», потому что данные были невозможны в специфическом смысле: они были слишком хороши. В области пространства диаметром 3,2 километра, в ста двадцати астрономических единицах от Солнца, физика выполнялась точно. Не «с высокой точностью» — точно. Квантовый шум, неустранимый по определению, тепловые флуктуации, вакуумные колебания — весь тот мелкий тремор, из которого соткана материя и по которому физики узнают, что имеют дело с реальностью, а не с симуляцией студента-второкурсника, — внутри области отсутствовал. Вселенная там не дрожала. Вера помнила, как её научный руководитель, человек сорока лет стажа, посмотрел на спектры и сказал фразу, вошедшую потом во все хроники: «Так не выглядит явление. Так выглядит чистовик».

Несколько месяцев объект ничего не делал — и человечество успело привыкнуть, испугаться, соскучиться и породить одиннадцать религий. В конце того же года он поправил Апофис-9.

Вера рассказывала эту историю на публичных лекциях столько раз, что могла бы читать её задом наперёд. Астероид класса «региональная катастрофа», расчётное сближение с Марсом через четыре года, вероятность импакта по колонии «Аргир» — четыре процента и растущая. И утро, когда баллистики обнаружили, что орбита Апофиса-9 изменилась — на 0,4 угловой секунды, ровно настолько, чтобы вероятность импакта стала нулевой, — изменилась без импульса, без вспышки, без переноса энергии, который кто-либо смог бы зарегистрировать. Было чуть неверно — стало верно. Неделью спустя аналитик, поднимая архивы, нашёл в данных «Гюйгенса» сигнатуру: за миг до коррекции идеальная область на границе гелиопаузы шевельнулась — по всем каналам сразу прошла рябь строго определённой формы, ни на что не похожая, кроме, как выразился тот же руководитель, «звука, с которым переворачивают страницу».

С тех пор страницу перевернули одиннадцать раз. Вера знала все одиннадцать сигнатур наизусть, как мать знает шаги детей по лестнице: солнечная вспышка семьдесят шестого, сглаженная за девять часов до выброса; деградирующая орбита лунного «Ловелла» с четырьмястами человек на борту; утечка в куполе Нового Улан-Батора на Марсе, устранённая — молекулярно заваренная — за пятьдесят минут до того, как её увидели датчики. Одиннадцать правок за семь лет, все — предотвращённый ущерб, ни одной — выгода, ни одного сигнала, ни одного ответа на тысячи посланий, отправленных в сторону идеальной тишины на всех языках, кодах и частотах. Объект не разговаривал. Объект вычитывал.

Слово «вычитывал» было её собственное, домашнее, и Вера никогда не произносила его на совещаниях, потому что оно принадлежало другой части её жизни — той, которая девять лет назад кончилась и с тех пор аккуратно хранилась закрытой. Соня любила, чтобы ей читали вслух, и терпеть не могла, когда Вера, устав, пропускала строчки: замечала всегда, безошибочно, из-под одеяла — «мама, ты пропустила про лису». Дочь слушала сказку так, как этот объект слушал Солнечную систему: зная текст лучше чтеца. Дальше этого сравнения Вера себе ходить не позволяла. Дверь закрыта. В миссию «Гелиос-Контакт» она пришла через два года после той двери, и все семь лет её вера — смешно: вера Веры, острил начальник аналитиче-

ского отдела, пока она не попросила перестать, — стояла на простом основании: одиннадцать из одиннадцати. Он предотвращает ущерб. Он бережёт. Чем бы он ни был, он на нашей стороне страницы, и когда он дочитает — а он дочитает, — выяснится, что нас читали с любовью. Ей было необходимо, чтобы это оказалось так. Профессиональная гипотеза и личная молитва жили в ней одной формулировкой, и Вера предпочитала не выяснять у себя, где кончается первая.

Инструменталисты — вторая церковь миссии, начальник аналитического как раз из них — читали те же данные наоборот: одиннадцать правок суть подготовка актива; никто не чинит крышу дома, который собирается снести. Спор шёл семь лет и был неразрешим по конструкции: обе стороны объясняли одни и те же факты, а новых объект не подбрасывал — он правил редко, крупно и по-прежнему молчал.

До ночи на двенадцатое мая.

Вера дежурила по аналитическому контуру из дома — ночная смена наземного сегмента сводилась к тому, чтобы спать вполглаза рядом с терминалом, — и проснулась в две минуты четвёртого от сигнала, которого не слышала никогда: сработал триггер сигнатуры. Она была у экрана раньше, чем окончательно открыла глаза. По всем каналам «Гюйгенса» шла рябь — та самая, узнаваемая, как почерк, форма переворачиваемой страницы, — но амплитуда была смехотворная: 0,003 от эталонной. Правка номер двенадцать была тише всего, что он писал прежде. Корректор, семь лет писавший на полях крупным почерком, впервые сделал помету остриём карандаша.

К шести утра подтянулась группа, к семи стало ясно, что это не сбой: сигнатуру взяли четыре независимых регистратора. К полудню закончили триангуляцию источника вторичного возмущения — того слабого эха, по которому определяли адрес каждой правки: у Апофиса эхо шло из пояса астероидов, у купольной утечки — с Марса. Вера смотрела, как система сужает эллипс локализации, и чувствовала, как у неё стынут руки, потому что эллипс не хотел останавливаться ни на одной орбите. Он падал к Земле. Он лёг на Землю, сжался до континента, до страны, до города — система запросила подтверждение полномочий, Вера ввела код, — до района, до квартала.

Эллипс погрешности накрыл четыре жилых дома и остановился.

В комнате наземного сегмента стало тихо так, как бывает тихо в помещении, полном людей, каждый из которых проверяет, не ошибся ли сосед. Семь лет объект правил орбиты, плазму и молекулярные швы. Астероиды, звёзды, конструкции — крупные существительные мира. Двенадцатая правка была внесена в жилой квартал, в перекрестье четырёх типовых домов, где в три часа ночи не происходило ничего, кроме сна четырёхсот человек.

— Инфраструктура, — сказал кто-то за спиной с надеждой. — Газ, проводка. Он предотвратил пожар, будет по нашему профилю...

Проверили за два часа: сети квартала были исправны и не менялись. Никакой аварии, никакого предотвращённого ущерба, никакого события вообще — по всем городским контурам ночь в квартале прошла бессобытийно, если не считать одного вызова в неотложную помощь в 2:47, поставленного диспетчером в категорию «консультация, выезд не требуется». Вера открыла карточку вызова, прочитала строку жалобы, перечитала её и почувствовала, как формулировка входит в неё медленно, остриём, как термометр в снег.

«Со мной что-то не так. Я здоров».

— Поднимите запись разговора, — сказала она.

Запись длилась четыре минуты. Мужской голос, немолодой, ровный, произносил слова «архитектура» и «несущая стена» и жаловался — Вера не находила другого глагола — жаловался на исчезновение тридцатисемилетнего логоневроза. Аналитики за её спиной слушали молча. Когда запись кончилась, начальник отдела — инструменталист, сорок лет стажа скепсиса — сказал негромко и без всякой иронии:

— Он начал править нас.

И Вера, у которой семь лет всё стояло на одиннадцати из одиннадцати, поймала себя на мысли, недостойной ни физика, ни провиденциалистки, — на мысли, от которой ей стало стыдно и которую она не смогла остановить: почему он. Двенадцатая правка, первая по людям, первая по живому — почему какой-то переводчик с логоневрозом. У неё было что предложить корректору для исправления. У неё девять лет было что предложить. Дверь, которую она держала закрытой, приоткрылась на эту одну мысль — и Вера закрыла её привычным движением, встала и сказала группе то, что полагалось сказать:

— Готовьте выездной протокол. Я поеду сама.

Имя из карточки вызова она к тому времени помнила наизусть. Ольшанский Матвей Андреевич. Она набрала имя в открытом поиске — привычка, оставшаяся от аспирантуры: сначала посмотри, кого цитируешь, — и среди строк выдачи, между техническими переводами и старым списком сотрудников института прикладной лингвистики, зацепилась глазом за заголовок пятнадцатилетней давности, за разгромный отчёт о какой-то конференции. Отчёт назывался «Язык как соучастник: о границах допустимого в лингвистике».

Вера прочитала аннотацию осмеянной теории — язык не столько описывает мир, сколько собирает его, — потом перечитала, потом долго сидела неподвижно.

Из трёхсот миллионов людей, живших когда-либо под этим небом, корректор выбрал для первой правки по живому человека, который потратил жизнь на утверждение, что грамматика — несущая конструкция мира.

Совпадение, сказала себе Вера Ланге. Слово прозвучало внутри неё так неубедительно, что она поднялась и стала собираться в дорогу.

Глава 5. Вербовка

Она пришла на четвёртый день — в четверг, в одиннадцать сорок, — и Матвей, открыв дверь, понял с первого взгляда две вещи: что женщина на площадке не ошиблась квартирой и что жизнь, которую он знал, кончилась ещё во вторник, а сейчас об этом просто пришли сообщить официально.

— Матвей Андреевич? — сказала женщина. — Вера Ланге, миссия «Гелиос-Контакт». Мне нужно с вами поговорить. Это касается ночи на двенадцатое мая.

У неё было усталое умное лицо человека, который трое суток спал урывками, и удостоверение с гербом международного консорциума — Матвей видел такие в новостях. Он постоял, пропуская её в квартиру, и отметил про себя странное: он не боялся предстоящего разговора. Четыре дня назад визит незнакомого человека, с которым придётся говорить неподготовленными фразами, стоил бы ему суток тревоги вперёд и суток опустошения после. Сейчас впереди была только гладкая поверхность. Вор продолжал оставлять всё лучше, чем было, и Матвей уже научился узнавать его почерк по этому особенному отсутствию сопротивления — как узнают свежевывмытое окно по тому, что в него не веришь.

На кухне Вера Ланге села, положила перед собой планшет, не включая его, и некоторое время смотрела на стол, где лежали рядом старый диктофон и рукописный лист, озаглавленный «Опись имущества». Матвей видел, как она прочитала заголовок и как решила ни о чём не спрашивать.

— Я буду говорить прямо, — сказала она. — В ночь на двенадцатое мая наши регистраторы зафиксировали событие класса «правка». Двенадцатое по счёту за семь лет. Сигнатура идентична предыдущим одиннадцати, амплитуда — ноль целых три тысячных от эталонной. Локализация источника вторичного возмущения... — она всё-таки включила планшет и развернула к нему: карта города, знакомый квартал, эллипс, накрывающий четыре дома, и в геометрическом центре эллипса, с точностью, от которой хотелось отодвинуться, — его подъезд. — Мы проверили все технические контуры. В квартале той ночью не произошло ничего. Кроме одного телефонного звонка в две сорок семь.

— «Со мной что-то не так, я здоров», — сказал Матвей.

— Да.

— Хорошая формулировка, — сказал он. — Я ею почти горжусь. Диспетчер, по-моему, до сих пор считает, что говорила с сумасшедшим.

— Диспетчер говорила, — сказала Вера Ланге ровно, — с первым человеком в истории, которого отредактировал внеземной объект. Я понимаю, как это звучит. Я обязана произнести это вслух, чтобы дальше мы могли разговаривать всерьёз: мы полагаем, что правка номер двенадцать — это вы. Ваше... — она на долю секунды запнулась, подбирая слово, и Матвей с профессиональным интересом отметил, что человек из миссии по контакту не подготовил термин, — ваше излечение.

Вот оно, подумал Матвей. Слово произнесено. Сейчас начнётся то, ради чего она ехала.

— И миссии «Гелиос-Контакт», — сказал он, — нужен я.

— Нам нужны данные, — сказала она, и в этой фразе прозвучало что-то отчуждённое — не холодность, скорее привычка говорить так, чтобы протокол не придрался. — Семь лет объект молчит. Одиннадцать правок — орбиты, плазма, конструкции: физика, Матвей Андреевич, крупная мёртвая физика, по которой мы ползаем со спектрометрами, как муравьи по типографскому станку. И вот двенадцатая: он впервые тронул живое. Впервые тронул человека — и человек сидит передо мной, пьёт кофе и способен рассказать, как это было изнутри. Вы понимаете, что вы сейчас — единственный канал информации о намерениях объекта, который

у человечества вообще есть? Не сигнатуры. Не эллипсы. Вы. Ваш случай — это первые слова, которые он произнёс, и они записаны в вас, в вашей неврологии, в вашем анамнезе...

— В моём анамнезе, — сказал Матвей, — записана дислалия. Эр и эль. Успешно скорректированы.

Она остановилась. Пальцы её — Матвей заметил это вдруг, отдельно, как замечают чужие руки, когда голос молчит — пальцы её перебирали край планшета, нажимая невидимые клавиши. Привычка работать с сенсорным экраном, перенесённая в пустое пространство.

— Мы знаем про архивы, — сказала она тише, и в тишине этой прозвучало что-то личное — не то чтобы уступка, скорее признание, что протокол кончился. — Мы подняли их вчера, все контуры. Это, если хотите, второе, что делает ваш случай бесценным: ретроактивное воздействие. Правка задним числом — мы даже не подозревали, что он на это способен, семь лет считали, что он оперирует настоящим... Матвей Андреевич, я предлагаю вам официальный статус в миссии. Обследуемого. Полный протокол: неврология, сомнология, речевой мониторинг. Лучшие специалисты, орбитальный сегмент, любые условия. Вы нужны нам как... — она поискала слово и взяла ближайшее, — как образец.

— Как экспонат, — сказал Матвей.

— Как образец текста, — сказала Вера Ланге, — со следами редактуры.

Она сказала это — и осеклась, потому что поняла, что процитировала не свои материалы, а его: аннотацию пятнадцатилетней давности, язык осмеянной теории. Матвей смотрел на неё через стол. Формулировка была точная — точнее всего, что он слышал за четыре дня, точнее неврологической «архитектуры» и собственной «описи имущества», — и именно поэтому следовало отказаться немедленно, пока точность не начала действовать.

— Нет, — сказал он.

— Могу я спросить почему?

— Потому что вы неправильно понимаете, что произошло, — сказал Матвей. — Вся ваша миссия. Вы, ваши регистраторы, ваш эллипс. Вы семь лет смотрите, как он предотвращает ущерб, и делите между собой два вывода: он нас бережёт или он нас готовит. У вас там целые отделы под эти два вывода, я читал прессу. А теперь он тронул человека, и вы приехали ко мне с горящими глазами, потому что для вас это не катастрофа, а наконец-то крупный план. Данные. Первые слова. Вы сказали — излечение.

— Я сказала...

— Вы сказали «излечение», — повторил он. — Вас излечили — так это выглядит из вашего эллипса. Хотите знать, как это выглядит из меня?

Она молчала. Она умела молчать в правильных местах — Матвей оценил это отдельно, безнадёжно, как оценивают достоинства противника.

— Меня ограбили, — сказал он. — Просто украденное было уродливым, и все поздравляют. Понимаете конструкцию? Вор пришёл ночью, взял единственное, что я нажил за тридцать семь лет собственным горлом, — и весь мир, включая мою мать, включая мои медицинские карты, включая восьмилетнего мальчика на семейном видео, считает, что брать было нечего, потому что вор прибрал и место кражи. Я хожу четвёртый день по своей жизни, как по чужой квартире, где вся мебель на месте и вся не моя. Вчера я поймал себя на том, что говорю с продавщицей — просто говорю, легко, о сырах, — и мне было физически хорошо, вот что самое подлое: мне было хорошо, у меня украли ещё и право на честное горе. А вы приезжаете и предлагаете мне статус обследуемого. Образца. Вы предлагаете обокраденному должность музейной витрины, в которой выставлено место преступления.

Он говорил — и слышал, что говорит блестяще: периодами, с горькой симметрией, с этим «включая — включая — включая», разогнанным, как волна. Четыре дня назад эта тирада была бы физически невозможна; она стоила бы ему получаса и всего достоинства. Он произнёс её на

одном дыхании — и от этого её содержание становилось только вернее: сама лёгкость, с которой он обвинял вора, была воров и оплачена. Он замолчал. Вера Ланге сидела неподвижно.

— Простите, — сказала она наконец. — «Излечение» — плохое слово. Я его больше не использую.

Она не стала спорить — и это было хуже всего, потому что со спором он бы справился.

— Я скажу одну вещь и уйду, — продолжила она, и в голосе её больше не было протокола — была точность, которой Матвей за всю жизнь не научился не верить. — Не как сотрудник миссии. Семь лет я верю... я считаю, что объект действует в нашу пользу. Одиннадцать из одиннадцати правок предотвратили ущерб — это сильная статистика, на ней можно стоять. Я на ней стою. Но статистика кончилась во вторник, потому что ваш случай в неё не укладывается: никакого ущерба ваше... ваша особенность никому не наносила. Он исправил не угрозу. Он исправил свойство. И если он начал исправлять свойства людей, то мне — лично мне, Матвей Андреевич, — очень важно понять, по какому принципу он отличает свойство от изъяна. Потому что у каждого из нас есть что-нибудь, что снаружи выглядит изъяном. — Она сказала это ровно, но на слове «каждого» что-то в её голосе на миг встало, как встаёт нога на трещине, и Матвей, тридцать семь лет читавший чужую речь на предмет трещин, увидел её ясно и понял только, что трещина старая и глубокая. — И я не уверена, что хочу жить в мире, где это решают за нас. Даже из любви.

Она поднялась, положила на стол чёрный прямоугольник коммуникатора — «прямая линия, без диспетчеров», — и пошла к двери. У порога остановилась.

— Семь лет я изучаю его правки, — сказала она, не оборачиваясь. — Орбиты, плазму, швы. Вы первая правка, у которой есть мнение.

Дверь закрылась. Матвей вернулся на кухню и долго стоял, глядя на стол, где теперь лежали в ряд три предмета: диктофон с последним настоящим Олышанским внутри, рукописная опись имущества и казённый коммуникатор с прямой линией — прошлое, настоящее и то, от чего он только что отказался.

Матвей выглянул в окно. На стене дома напротив, под лестничной клеткой, красовалось свежее объявление — кто-то наклеил поверх старой рекламы пластиковых окон. «Беседы о Евангелии. По четвергам. Отец Иероним». Матвей прочитал дважды. Он не знал, почему остановился на этом — в городе полно объявлений, полно четвергов, полно отцов. Но что-то в почерке, в небрежности наклейки, в том, что объявление было единственным на стене без QR-кода — что-то задержало взгляд.

Он закрыл окно и пошёл к столу. Но имя осталось: Иероним. Странное имя для священника. Не Сергей, не Алексей. Иероним — как у того, кто переводил Библию.

Он взял ручку и дописал в опись, в самый низ, четвёртым пунктом, сам не зная зачем: «Право на честное горе». Подумал и добавил пятый: «Мнение».

Потом убрал коммуникатор в ящик стола — не в мусор, отметил он про себя с неудовольствием, в ящик, — и до вечера переводил регламент по вентиляции, в котором никто ничего ни у кого не крал.

Глава 6. Дневник обид

Три недели Матвей Ольшанский учился заикаться.

Задача, если сформулировать её честно, звучала как диагноз, и он формулировал её честно — письменно, на первой странице рабочей тетради: «Восстановление утраченного дефекта. Методология». Методология была вся его прежняя жизнь, прочитанная справа налево. Он поднял из памяти арсенал Инны Марковны и стал применять его в обратную сторону: если мягкая атака обманывала горло, подсовывая слово на выдохе, то он теперь брал слова в лоб, на вдохе, с разгона, целясь в старые рифы — «п», «к», «двенадцатое». Рифы пропускали. Он говорил быстрее, чем мог думать, — техника саморазрушения, безотказная в прежней жизни. Речь держалась. Он читал вслух на бегу, задыхаясь, по лестнице на девятый этаж. Читал пьяным — рябиновая кончилась на второй неделе, он купил ещё, с мрачным чувством человека, приобретающего лабораторный реактив. Читал не спавши двое суток, серым ртом, — и серый рот выговаривал «прецедент» с первого раза.

К концу второй недели он понял, что изучает не своё горло, а чужую работу. Дефект не был подавлен — подавленное оставляет пружину, на которую можно надавить. Дефект был изъят. Вместе с гнездом.

Оставался вопрос метода: как заметить следующую кражу? Первую он обнаружил случайно, по счётчику диктофона. Полагаться на случай дальше было нельзя, и Матвей завёл протокол: каждый вечер, в одно время, наговаривать десять минут свободной речи — не книгу, просто день, погоду, вентиляционный регламент — и раз в неделю сличать записи. Контрольные оттиски самого себя. Он делал это одиннадцать вечеров подряд, прежде чем протокол сработал.

Сработал он, впрочем, не через диктофон. Через Павла Константиновича.

Тот подстерёг его во дворе — у Павла Константиновича было к Матвею новое отношение, сложное: сосед, прежде отделявшийся «угу», теперь разговаривал, и разговаривал хорошо, и Павел Константинович инстинктивно чувал в этом непорядок, как чуют перестановку мебели в знакомой комнате.

— А я тебе скажу, чего в тебе переменялось, — объявил он на пятой минуте разговора о международном положении, вдруг прервав сам себя. — Ты говоришь, как диктор. Вот раньше ты говорил... — он пошевелил пальцами, — ...ну, как человек. «Ну», «это самое». А теперь — как сводку читаешь. Гладко. Слушать приятно, а не по себе.

Матвей поднялся к себе, сел к диктофону и прогнал последние контрольные записи через простейший частотный анализ — навык переводчика, полчаса работы. Потом прогнал ещё раз, потому что не поверил.

В записи от понедельника слово «ну» встречалось четырежды, «как бы» — дважды, «собственно» — его многолетнее, любимое, профессорское «собственно» — трижды. В записи от четверга — по нулям. Всё. Весь мусор речи, все её щепки и опилки, все звуковые прокладки, которыми человек выгадывает четверть секунды на подумать, — исчезли разом, между средой и четвергом, и он не заметил, потому что заметить отсутствие «ну» невозможно: оно и присутствуя не значит ничего. «Ну» — это звук, которым речь сообщает, что её производит живой и производство идёт с трудом. Пар над строкой. Корректор — слово пришло само, цеховое, точнее газетного «Редактора», и осталось насовсем — снял пар.

Вторая правка. Он записал её в тетрадь, с датой, — и тут его накрыло запоздалой волной, той, что приходит через секунду после толчка: контрольные записи. Понедельничная запись лежала на том же диктофоне, что и всё остальное. На старом. На офлайнном. И в понедельничной записи «ну» ещё было, а значит, сличение шло по честным оттискам, — но если правка прошла между средой и четвергом, то тронула ли она только его горло или...

Он открыл архив диктофона и поставил июльскую запись прошлого года. Главу про мёртвые метафоры. Ту самую.

— Мёртвая м-м... — сказал диктофон и встал, и забуксовал, и взял слово со второго захода.

Заикание было на месте. Матвей выдохнул — и в следующие сорок минут, слушая, свёл дыхание обратно на нет, потому что слушал он теперь иначе, частотно, охотничьим ухом, и ухо не находило того, что там было в июле, было наверняка, было всегда: ни одного «ну». Ни одного «собственно». Прошлогодний Матвей продирался сквозь ледоход — но продирался начисто, без опилок, и оттого запись звучала неуловимо смонтированной, как звучит документальный фильм, из которого вырезали дыхание. Он поднял с полки самые старые кассеты, десятилетней давности, времён первых глав. То же самое. Правка прошла по всему архиву — по офлайн-новому, отключённому, лежащему в ящике стола аппарату, до которого три недели назад не дотянулась правка первая. Майская граница, которой он тогда, на кухне, так обрадовался, оказалась не границей. Оказалась очередью.

Это было хуже всего, что случилось за месяц, и Матвей заставил себя разбираться, почему это хуже. Не потому, что пропали «ну», — по «ну» не плачут. Потому, что пал последний сейф. Три недели он жил с утешительной картой мира: есть контур — и есть ящик стола; есть чистовик, который правят, — и есть черновики, куда не заглядывают. Теперь корректор побывал в ящике. И вот здесь, на самом дне страха, Матвей нащупал то, что заставило его среди ночи сесть за стол и зажечь лампу: корректор побывал в ящике — и оставил заикание.

Он мог стереть. Он стёр «ну» с кассеты десятилетней давности — техника, стало быть, позволяла всё. Заикание на тех же кассетах он не тронул, хотя месяц назад именно заикание изъясил из живого Матвея, из его матери, из школьного видео, из всех карт всех поликлиник. Асимметрия. Матвей выписал её на лист и час просидел над ней, как над самой странной фразой самого тёмного текста в своей практике, — и под конец часа записал ниже, с двумя вопросительными знаками, первую в жизни гипотезу о грамматике вора:

«Он не перечитывает??»

Если чтение идёт подряд — а оно шло подряд: сначала он, живой, потом документы, потом мать, теперь речевой мусор, слой за слоем, снаружи внутрь, — то страница, которую перевернули, остаётся перевёрнутой. Правка первая касалась заикания и была внесена всюду, куда корректор смотрел тогда. В ящик он тогда не смотрел. Правка вторая касалась слов-паразитов — и была внесена всюду, куда он смотрит теперь, включая ящик, потому что теперь он читает внимательнее. Но возвращаться и переносить старую правку на вновь найденный черновик он не стал. Не счёл нужным — или не умеет — или это против правил его ремесла. Корректоры не перечитывают гранки, подумал Матвей, корректоры читают вперёд, полоса за полосой, и от этой мысли ему стало одновременно страшнее и легче: страшнее, потому что чтение, стало быть, продолжается и будет продолжаться, полоса за полосой, вглубь; легче, потому что у вора обнаружилось первое правило, а всё, у чего есть правила, есть язык.

Той же ночью он завёл вторую тетрадь.

Первая называлась «Опись имущества» и не шла: опись предполагает, что владелец знает, чем владеет, а Матвей, составив пять пунктов, обнаружил, что не может продолжить, — имущество такого рода не видно изнутри, пока его не начали выносить. Заикание он бы тоже не внёс в опись месяц назад. Требовался другой жанр, и он нашёлся сам, ночью, между гипотезой о перечитывании и четвёртой чашкой: не опись, а журнал наблюдений. Криминалистика на опережение. Если корректор выносит из него всё, что читается как пометка, — надо ежедневно протоколировать пометки, пока они на месте. Ловить себя живого с поличным.

Он открыл тетрадь и написал на первой странице: «Дневник обид».

Название пришло само и было точным. Обида, злость, страх, зависть, стыд — вот что первым идёт под карандаш у любого корректора: эмоциональный мусор, «ну» души. Значит,

их и протоколировать — ежедневно, с датой, конкретно, без литературы. Он начал тем же вечером, и первые записи дались тяжело, как всякая инвентаризация:

«2 июня. Злился на П. К. за «говоришь как диктор» — вернее, за то, что он заметил раньше меня. Злость мелкая, стыдная, минут на десять. Фиксирую.

Боюсь звонка заказчика (осталось, проверил: представил звонок — вспотели ладони. Хорошо. То есть плохо, но моё).

Обида на мать — не тает. Не за видео. За «выдумщик».

Раздражают собственные фразы. Слишком ровные. Читаю утренние контрольные записи и не слышу, где мне трудно. Речь без трудных мест — как местность без примет: не за что держаться глазу. Фиксирую как утрату, кандидат в опись: примета.

Зависть: к прошлогоднему себе, июльскому. У него не выходила «метафора». Богатый был человек.

Проба даты вышла. Выходит теперь всегда. Перестая записывать результат — записываю, что перестал».

Он писал шариковой ручкой, от руки, с нажимом — бумага, никакого контура, — и понимал, конечно, всю смехотворность этой предосторожности: кассеты тоже были никаким контуром. Сейф, вскрытый однажды, не становится надёжнее оттого, что в него кладут новое. Но тут работало другое правило, его собственное, только что открытое, единственное оружие: корректор не перечитывает. Всё, что успевает лечь на страницу до того, как её перевернули, — остаётся. Дневник был гонкой с чтением: писать о себе быстрее, чем тебя правят.

Перед сном Матвей выдвинул ящик стола — проверить дневнику место — и увидел казённый коммуникатор с прямой линией, лежавший там три недели. Он посмотрел на него без прежней враждебности, оценивающе, как смотрят на инструмент, о назначении которого начинают догадываться.

«Вы первая правка, у которой есть мнение», — сказала тогда женщина из миссии.

Мнение у правки было. Теперь у неё появлялись правила противника, журнал наблюдений и вопрос, который не с кем было обсудить на этой кухне: что в нём идёт следующей полусой. Матвей задвинул ящик, не тронув коммуникатора, — но, засыпая, впервые поймал себя на том, что думает о женщине с усталым лицом как о «Вере», а не как о «миссии», и внёс это утром в дневник отдельной строкой, честности ради.

Глава 7. Сны без тревоги

Третью правку Матвей проспал. В этом была её конструкция.

Сон про лёд приходил к нему всю жизнь с надёжностью коммунальной службы. Не каждую ночь — по графику, известному только ему самому: под понедельник, после трудных дней, накануне любых дат, в которых стояло «января». Сон не менялся тридцать семь лет и не был, строго говоря, кошмаром — кошмары изобретательны, а этот работал одной сценой, как театр одного акта: берег, серое небо, спина Гриши в коричневом пальто, звук — не треск даже, а короткий, деловитый хруст, с каким мир меняет решение, — и потом семь секунд, в которые надо крикнуть. Во сне Матвей знал, что надо крикнуть, знал слово — «беги», одно слово, три буквы, ни одной взрывной, — и не мог. Горло наливалось тем же чугуном, что наяву, сон был единственным местом, где заикание сохраняло верность оригиналу до конца, — и он просыпался на четвёртой секунде из семи, всегда на четвёртой, с колотящимся сердцем и мокрой шеей, и лежал потом в темноте, дыша.

Он ненавидел этот сон так, как ненавидят родное.

Заметил он не сразу — в том и дело. Отсутствие сна не будит. Человек, у которого украли бессонную четвёртую секунду, просто спит дальше, глухо и ровно, и утром чувствует себя отдохнувшим, и если бы не дневник, Матвей, возможно, хватился бы через месяц. Но дневник теперь велся ежевечерне, и в графе, которую он завёл после истории с «ну», — «сны (что снилось, качество, пробуждения)» — двенадцать дней подряд стояло одно и то же: «не помню, спал хорошо». На тринадцатый день он перечитал графу сверху вниз, и двенадцать «спал хорошо» сложились в столбик, как складываются в сводке двенадцать дней без осадков, — и он понял, что засухи такой длины в его жизни не было никогда.

Он проверил себя жестоко — способом, за который сам себе потом выставил в дневнике выговор. Вечером, перед сном, он достал единственную фотографию: январь, за неделю до, Гриша в том самом коричневом пальто, снег, санки, оба шурятся. Он смотрел на неё сорок минут, вызывая всё, что полагалось: берег, хруст, чугун в горле. Тело отзывалось — сердце тяжело, шея холодела, механизм был цел. Он лёг, уверенный, что запустил сон вручную.

Утром в графе снов он записал: «Не помню. Спал хорошо». Рука писала, а он смотрел на неё почти с ненавистью.

Ещё через неделю пришло худшее — то, о чём он потом не смог написать в дневнике сразу, два дня обходил страницу стороной. Он понял, что не может вспомнить Гришу во сне вообще. Не сон про лёд — любой сон. Всю жизнь брат заходил в его сны, как заходят в дом, где вырос: без стука, на правах. Иногда страшно, чаще нет — просто присутствовал, восьмилетний, вечный, где-то на краю сюжета, в толпе, за столом, спиной. Матвей никогда не считал эти появления, их не считают, — но теперь, ставя себе вопрос прямо, он не мог поднять из памяти ни одного за последние недели. Сны стали гладкие. Населённые кем угодно. Прибранные.

Той ночью он сел за дневник и выстроил очередь.

Это была уже не запись — расчёт, первый настоящий, на двух страницах, с нумерацией. Если корректор читает подряд, полоса за полосой, снаружи внутрь, — то полосы можно перечислить. Первая: заикание, самый внешний слой, дефект, торчащий из текста, как загнутый угол. Вторая: речевой мусор — глубже, мельче, стилистика. Третья: сны — уже не речь, изнанка речи, то, что она видит, когда молчит. Он выписал три пометы столбиком, посмотрел на направление — и продолжил столбик вниз сам, за корректора, как продолжают числовой ряд: четвёртой полосой шло то, из чего росли и заикание, и сон. Источник загнутого угла. Прорубь.

Он записал это слово в столбик — четвёртым пунктом, со знаком вопроса, — и обнаружил, что не может сидеть. Встал, прошёл по кухне. Ужас, который он испытывал, был особого

устройства, и он честно попытался его разобрать, потому что разбирать было единственным, что он умел делать со страхом. Корректор шёл к травме — и собирался, судя по всем предыдущим полосам, не лечить её. Лечение оставляет шрам, шрам — след ошибки, ошибка остаётся читаемой; этот так не работал. Он собирался внести правку: январь без хруста. Берег без семи секунд. Текст, в котором мальчик Ольшанский М. А. никогда не стоял на берегу, — и, значит, некому было не крикнуть, и, значит... Матвей остановился посреди кухни. Значило это ровно одно, и он заставил себя доформулировать: Гриша существовал в нём в единственном виде — в виде раны. Не в фотографиях (фотографии — в контуре), не в материнской памяти (мать — в графе ссылок, её уже правили), а в нём, изнутри, брат держался за одно-единственное место: за четвёртую секунду. Уберут секунду — отпустят руку.

Наутро — было воскресенье, шёл мелкий обложной дождь — Матвей вышел из дома без цели, что не случалось с ним, человеком маршрутов, никогда, и через сорок минут бесцельности обнаружил себя под козырьком церковного крыльца, куда загнал дождь ещё человек шесть.

Церковь была маленькая, кирпичная, зажата между автосервисом и новостройкой. Матвей не был в церкви с похорон — с тех похорон — и заходить не собирался; но дверь была открыта, из неё тянуло воском и слышался голос, негромкий, разговорный, совсем не служебный, и в голосе этом было качество, которое Матвей, тридцать семь лет коллекционировавший чужую речь, определил безошибочно и удивлённо: человек думал вслух. Не произносил готовое — думал, сейчас, при слушателях, с паузами в неправильных местах. Он вошёл на этот звук, как входят на запах хлеба.

В боковом приделе, на разномастных стульях, сидело десятка полтора людей, а перед ними, не на амвоне — просто на стуле, развёрнутом задом наперёд, — сидел монах лет шестидесяти, в очках, с лицом сельского учителя, и говорил, глядя поверх голов в маленькое окно:

— ...и вот смотрите, какая странная вещь. Вифезда, купальня, тридцать восемь лет человек болен. Тридцать восемь лет — это не эпизод, это биография. И подходит Тот, Кто может всё, — заметьте, уже зная, что может всё, и зная, что сделает, — и задаёт вопрос, который звучит как насмешка: хочешь ли быть здоров? — Монах снял очки и посмотрел в зал. — Мне в юности этот вопрос казался риторическим украшением. Ну что значит — хочешь ли? Тридцать восемь лет у купальни — конечно, хочет, спрашивать-то зачем? А теперь я думаю, что во всей главе главное — вопрос, а не чудо. Чудо мог бы и не спрашивая. Силы хватало. Но всемогущество, — он аккуратно, за дужку, повесил очки обратно, — всемогущество, которое не спрашивает, называется иначе. У этого есть много имён, и все мы их знаем, и ни одно из них не церковное. Благодать отличается от насилия не масштабом и не результатом. Она отличается вопросом.

По приделу прошло движение — не согласия, скорее неудобства, как бывает, когда лектор трогает то, о чём в зале думает каждый. Немолодая женщина в первом ряду подняла руку, по-школьному:

— Отец Иероним, а если человек сам не знает, чего хочет? Если спросить нельзя — он без сознания, или младенец, или... — она замаялась, — или просто не понимает, что болен?

— Тогда мы говорим о милосердии врача, и это отдельный, честный разговор, — кивнул монах. — Но заметьте, Нина Сергеевна, что вы сейчас сделали: вы стали искать, при каких условиях можно не спрашивать. Мы все двадцать веков этим заняты. А Он — имея все условия не спрашивать — спросил. — Иероним помолчал и добавил тише, себе: — Меня в последние годы очень занимает Тот, Кто на границе солнечной системы. Не пугайтесь, я не собираюсь его крестить. Я только замечаю, что он всё может, всё делает правильно — одиннадцать раз из одиннадцати правильно, говорят учёные люди, — и ни разу не спросил. И когда мне говорят «значит, он выше вопросов», я отвечаю: нет. Значит, он ниже одного вопроса. Пока — ниже.

Отец Иероним. Имя со стены дома напротив — с того единственного объявления без кода, наклеенного поверх рекламы окон. Город, оказывается, месяц подсовывал ему этот адрес, а он, человек маршрутов, всё выбирал другие камни.

Матвей стоял у задней стены, мокрый, и чувствовал, как сказанное входит в него и становится на место — в столбик из четырёх пунктов, пятым, поперёк нумерации. Хочешь ли быть здоров. Ему не задали этого вопроса. В этом — не в украденном заикании, не в переписанных картах, не в гладких снах — была сердцевина всего, что с ним делали: с ним делали правильно и без вопроса, и монах с лицом сельского учителя только что дал этому имя, вернее, показал, что имя есть, — много имён, ни одного церковного.

После беседы, когда стулья двигали и разбирали зонты, Иероним прошёл мимо него к выходу, остановился и посмотрел ему не в глаза, а чуть ниже, в горло — как будто слушал заранее. Матвей вздрогнул: этот взгляд он уже видел. Тридцать четыре года назад, в подвальчике, пахнувшем воском, у старика, к которому водила мать. Смотреть в горло. Слушать заранее. Иероним сказал без предисловия:

— Вы стояли так, как стоят люди, у которых уже что-то исправили. Я научился различать. Не отвечайте, если не хочется.

— Исправили, — сказал Матвей.

— Спросили?

— Нет.

— Ну вот, — сказал Иероним без всякого торжества, скорее с усталостью врача, подтвердившего диагноз. — Нас тут собирается несколько человек по четвергам. Таких же неспрошенных. Разговариваем. Никакой мистики, никакой политики, чай плохой. — Он достал из кармана подрясника и протянул Матвею четвертушку серой бумаги, на которой от руки, шариковой ручкой, был написан адрес и время. Бумага. Вне всякого контура. Матвей взял её и посмотрел на монаха с внезапным вниманием.

— Вы пишете от руки.

— Я много чего делаю от руки, — сказал Иероним. — Видите ли, я допускаю, что нас читают. Это не повод замолчать. Но это повод следить за почерком.

Он кивнул и вышел в дождь, не раскрывая зонта. Матвей стоял с серой четвертушкой в руке. Дома он вклеил её в дневник, а рядом записал — быстро, пока страницу не перевернули:

«Найден второй человек с правилами. Первое правило совпадает с моим».

Глава 8. Богословие правки

Адрес с серой четвертушки привёл Матвея в четверг к семи вечера в помещение бывшей воскресной школы позади церкви — комнату с низким потолком, разномастными стульями, составленными в кружок, и доской, на которой мелом, от руки, было выведено: «Просьба: устройства оставлять в коробке у входа». Коробка стояла тут же, картонная, из-под яблок. Матвей опустил в неё телефон с чувством человека, сдающего оружие, и отметил, что коробка почти полна: пришедшие до него сдавались без напоминаний.

Их было одиннадцать человек, не считая Иеронима, и чай был действительно плохой.

— У нас простой порядок, — сказал Иероним, когда расселись. Он сидел в кружке как все, ничем не председательствуя, кроме того, что все смотрели на него. — Говорит кто хочет, о чём хочет. Не перебиваем. Не утешаем — это важно, у нас не группа поддержки, у нас, если угодно, семинар. Не диагностируем друг друга. И ничего не записываем, кроме летописи, — он кивнул на толстую тетрадь в клеёнчатой обложке, лежавшую на свободном стуле, — которую ведём от руки и которая отсюда не выносится. Сегодня у нас новый человек, поэтому, если никто не против, пойдём по кругу, коротко, кто с чем. Нина Сергеевна, начнёте?

Нина Сергеевна — та самая, из первого ряда, с по-школьному поднятой рукой — сложила ладони на коленях.

— Я, наверное, здесь самая счастливая, — сказала она без иронии. — У меня тридцать лет была мигрень. Настоящая, с аурой, по трое суток, врагу не пожелаешь. Четырнадцатого марта семьдесят девятого года она кончилась. Совсем. Я даже число не сразу запомнила — это потом, когда в новостях сказали про лунную станцию, про орбиту, я посчитала назад и... В общем, совпало. День в день. — Она посмотрела на Матвея, объясняя специально ему: — Я сюда хожу не жаловаться. Мне не на что. Я хожу, потому что мне никто, кроме этих людей, не верит, что это было оно. Врачи говорят: спонтанная ремиссия, бывает, климакс. А я знаю, что меня... — она поискала слово и взяла из здешнего обихода: — ...что меня причесали. Заодно. Как крошку смахнули со страницы, когда правили соседнюю строчку. И я благодарна. Вот честно, при отце Иерониме скажу: я каждый вечер говорю ему спасибо. Не знаю кому. Туда, — она показала подбородком куда-то вверх и вбок, в сторону, надо полагать, гелиопаузы.

— Зафиксируем: благодарность, — сказал Иероним без всякой насмешки. — Костя?

Костя оказался мужчиной лет пятидесяти, сухим, с лицом бывшего спортсмена. Он сидел, выставив вперёд протез — не пряча, а именно выставив, как выставляют документ.

— Нога, — сказал он. — Левая, ниже колена, двадцать два года как нет. И двадцать два года она болела. Фантомные боли, кто не знает, — это когда болит то, чего нет. Мне объясняли: мозг держит карту тела и не согласен с поправками. Так вот, полгода назад — я число тоже знаю, шестое декабря — боль кончилась. — Он помолчал. — Все поздравляют. Жена плакала от радости. А я вам так скажу, я долго формулировал: пока болело — она была моя. Понимаете? Карта не соглашалась. Мозг мой, дурак, двадцать два года стоял на своём: есть нога. Болит — значит есть. А теперь карту... поправили. Согласовали. И я её потерял второй раз, теперь уже всю, теперь навсегда, и второй раз — больнее. Только этой боли на карте нет, она нигде не значится. — Он посмотрел на Матвея тяжело и спокойно. — Я не благодарен. Я в меньшинстве тут у нас с Ниной Сергеевной на разных концах, вот и ходим оба.

Дальше по кругу сидела женщина, назвавшаяся Асей, лет сорока, говорившая тихо и не поднимая глаз:

— А у меня пропал стыд. Один, конкретный. Я в молодости сделала одну вещь... неважно какую, я её здесь рассказывала, повторять не буду. Я с ней жила восемнадцать лет. Она меня, как бы объяснить... она меня организовывала. Я из-за неё стала тем, что я есть, — я волонтёрю, я половину зарплаты... неважно. И вот в феврале я проснулась — и её нет. Помнить — помню.

Могу пересказать, как чужое. А не жжёт. И я четыре месяца хожу и не понимаю, кто теперь всё это делает — волонтерство, переводы эти мои, — по привычке? По инерции? Раньше был двигатель, теперь катится накатом. — Она подняла глаза. — Я хочу обратно мою совесть. Скажите, это ненормально — хотеть обратно то, что жгло?

— Здесь, — сказал Иероним, — это самый нормальный вопрос из возможных.

Был ещё бывший пожарный, у которого исчезли сны о выносе тел, — «и вместе с ними ребята; я их теперь только по фотографиям»; была старуха, переставшая бояться смерти, — она сообщила об этом скорбно, как о краже последнего ценного; был юноша-заика — у Матвея дрогнуло всё внутри, но заикание юноши было на месте, целое, мучительное, юноша ходил сюда из страха: прочитал про правку в кварталах — в сети уже гуляли утечкой карты с эллипсом — и теперь жил, как под приговором, ожидая исправления. «Я не хочу, — выговорил он за четыре захода, и никто не перебил, не договорил за него, и Матвей отметил это домашнее правило кружка с почти болезненной благодарностью. — Пусть оно моё. Плохое, но моё».

И был Аркадий Петрович — эпидемиолог на пенсии, штатный, как отрекомендовал его Иероним, адвокат случайности.

— Я обязан сказать новому человеку то, что говорю всем, — объявил Аркадий Петрович с удовольствием человека, оседлавшего любимую тему. — В стране ежедневно происходят тысячи спонтанных ремиссий. Мигрени проходят. Фантомные боли угасают — есть литература. Чувство вины притупляется со временем — это называется жизнь. Вероятность того, что случайная ремиссия придётся на день какой-нибудь правки, при двенадцати правках за семь лет... я считал: каждый третий из нас статистически обязан здесь сидеть безо всякого корректора. Мы — кружок совпадений, которые нашли друг друга. Апофения. Я хожу сюда четвёртый год и ни разу не видел случая, который нельзя объяснить без него.

— И тем не менее ходите, — сказал Костя.

— И тем не менее хожу, — согласился эпидемиолог неожиданно тихо. — Потому что дома я пересчитываю свои базовые частоты, и они сходятся, всё сходится... а потом вспоминаю, что если он умеет править задним числом, то моим частотам грош цена. Ремиссии, литература, «бывает» — а откуда я знаю, что «бывает» не правлено? Статистика работает, пока прошлое неподвижно. Вы понимаете, что он у нас украл на самом деле, у всех сразу, у всей науки? Не здоровье и не боль. Контрольную группу. — Он развёл руками. — Вот я и хожу. Как адвокат, который перестал верить собственному подзащитному.

Стало тихо — но ненадолго, и разбил её не Иероним.

— Ой да ладно вам, — сказал вдруг Костя, хлопнув себя по колену там, где кончалась настоящая нога и начинался пластик. — Развели, ей-богу, поминки. Я вот вчера этой самой ногой — той, которой, между прочим, нет, — зацепился за порог и чуть Аркадию Петровичу суп на колени не опрокинул. Двадцать два года мимо этого порога хожу не глядя, ни разу не задел, а тут вдруг — ходить разучился, что ли? Может, он мне заодно и координацию подправил, а я и не заметил, спишу потом на серую карточку.

Нина Сергеевна прыснула, зажав рот ладонью, — не над бедой, а именно над этим «заодно», — и даже юноша-заика улыбнулся уголком рта, впервые за вечер. Ася сказала тихо, с той домашней интонацией, что бывает у людей, просидевших вместе не один четверг: «У вас всегда так, Костя, — сначала страшное, потом смешное».

— А то, — согласился Костя. — Меня жена Валя из-за одного страшного двадцать два года терпела, я ей должен хоть смешное в довесок. — Он сказал это легко, но глаза на секунду ушли в сторону, к окну, и Иероним, заметивший это лучше всех в комнате, ничего не спросил. Матвей заметил тоже — и внёс себе на память, ещё не понимая зачем: у Кости есть Валя, и Валя, кажется, терпела не одну только ногу.

Смех сошёл сам собой, ровно, без надрыва, и тишина, пришедшая ему на смену, была уже другого состава — тише, но живее прежней. Иероним дал ей постоять ещё немного — он обращался с тишиной бережно, как с участником, — и сказал:

— Тогда я сформулирую сегодняшнее. Двадцать веков лучшие головы бились над вопросом: почему Всемогущий допускает страдание. Целая наука выросла, теодицея, оправдание Бога. И вот на границе солнечной системы семь лет висит некто, кто страдания не допускает — отменяет, аккуратно, задним числом, с гарантией, — и я смотрю на нас с вами и вижу, что вопрос перевернулся. Нам теперь нужна теодицея наоборот. Не «почему допускает» — «имеет ли право отнять». Имеет ли благодетель право отнять страдание без спроса. — Он обвёл кружок глазами. — Заметьте, я не спрашиваю, хорошо ли нам стало. Нине Сергеевне — хорошо. Косте — нет. Асе — она сама не знает. Я спрашиваю про право, потому что право не измеряется результатом. И у меня нет ответа. У меня есть только наблюдение: всё, что мы здесь друг другу рассказываем, — это рассказы о собственности. «Моя нога». «Моя совесть». «Пусть плохое, но моё».

Матвей сидел, держа остывший чай, и слышал, как слово «собственность» ложится точно в тот паз, где в его тетради стояло своё: опись. Иероним повернулся к нему:

— Вы не обязаны. Но если хотите — круг ваш.

Матвей хотел. Он понял это по тому, как поднялось и пошло изнутри давно готовое, — и начал с того, с чего начинал теперь любой отчёт:

— Двенадцатого мая я проснулся и произнёс дату.

Он рассказал всё: пробу из четырёх слов, сорок одну минуту на счётчике, зеркало, поле, на котором не строили, дислалию в архивах, мальчика в белой рубашке, читающего «Зимний вечер», кассеты, уцелевшие в ящике, и «ну», не уцелевшее нигде, и двенадцать «спал хорошо» столбиком. Он не назвал только Веру и эллипс — не из скрытности, а потому что это была пока не его часть истории. Он говорил минут десять, и говорил, он слышал это сам, превосходно: стройно, ровно, с горькой симметрией, каждая фраза вставала в паз, — и с каждой вставшей фразой ненавидел её отдельной, персональной ненавистью, потому что рассказ о краже был изготовлен на украденном станке. Юноша-заика смотрел на него во все глаза — так смотрят на собственную рентгенограмму. Когда Матвей закончил — «...и вот я здесь, потому что вы, кажется, единственные люди, у которых со мной общий словарь», — тишина в комнате была другого состава, чем прежние.

— Тридцать семь лет, — сказал наконец Костя. — Стажем берёт.

И все почему-то засмеялись — коротко, с облегчением, как смеются в комнате, где стало одним своим больше. Иероним не смеялся. Он смотрел на Матвея поверх очков, в горло, и когда расходились — коробка у входа пустела, устройства разбирали, как пальто, — задержал его в дверях.

— Вы рассказали не всё.

— Не всё, — сказал Матвей.

— К вам приезжали.

Это не был вопрос, и Матвей не стал отвечать вопросом на невопрос:

— Приезжали. Я отказался.

— Понимаю, — кивнул Иероним. — Обокраденный не нанимается в музей собственной кражи. — Он подумал и добавил: — Но вы всё-таки взвесьте вот что, пока взвешивается. Все, кто сидел сегодня в этой комнате, включая меня, — мы приход. Мы можем свидетельствовать, горевать, благодарить и ошибаться, Аркадий Петрович прав в главном: ни один из нас не докажет даже собственной кражи. А вы — вы пока единственный человек, у которого с ним, — Иероним показал подбородком вверх и вбок, в нинину сторону света, — общий словарь. Вы сами сказали это слово сегодня, только адресом ошиблись. — Он открыл перед Матвеем дверь в темноту и дождь. — Подумайте, кому словарь нужнее.

Матвей уже шагнул под дождь, когда обернулся:

— Вы смотрите в горло, когда слушаете. В детстве меня водили к человеку, который смотрел так же. Старик, подвал, воск. Он говорил про заикание — «особый ритм, который мир ещё не научился слушать».

— Отец Севастиан, — сказал Иероним без малейшего удивления, как называют общий адрес. — Я у него начинал. Он учил: в глазах человек показывает, что хочет, а в горле — что может. Сорок лет слушал заик, молчунов и немых и говорил, что гладкой речи у Бога нет — гладкая речь у справок.

— А вас? Вас он слушал?

— Меня — дольше всех, — сказал Иероним. — Я ведь не наблюдателем у него был, Матвей Андреевич. Пациентом. С шести лет и до армии, по вторникам и пятницам, как вы. — Он снял очки, и без них лицо у него оказалось старше. — Я вылечился. По-человечески: десять лет работы, метод, дыхание, вот это всё. Севастиан был против — не лечения, торопливости моей: я рвался проповедовать, а с моим ртом, как мне тогда казалось, пускали только в молчальники. Я свой ритм выломал, как выламывают замок, и пошёл говорить. Красиво говорю, правда? Сорок лет красиво говорю. — Он надел очки обратно. — А старик умер в год моей первой большой проповеди, и я так и не решил одну задачку, всё решаю: то, что я сделал со своим горлом, — исцеление или первая правка, которую я видел вблизи. Только медленная. И с согласия. Может, в согласии вся разница. А может, я сорок лет себя утешаю. Вот почему я вас различаю, неспрошенных: по себе меряю. Я — спрошенный. Мне от этого не всегда легче. — Он помолчал. — Имя, кстати, из той же задачки: мой тёзка сорок лет переводил Книгу и до смерти правил собственный перевод. Брал, думал, — за упрямство. Оказалось — за профессию. Идите, вы промокнете.

Дома Матвей записал в дневник летопись четверга — всех одиннадцать, от Нины Сергеевны до юноши, по памяти, от руки, торопясь, пока страницу не перевернули. Внизу подвёл черту и вывел:

«Их одиннадцать. Ни один не может доказать, что его правили, — и ни один не может быть опровергнут. Он украл у них даже это: границу между потерпевшим и мнительным.

Я — могу. У меня есть эллипс, сигнатура и женщина с прямой линией в ящике стола.

Человек состоит из имущества, которое не значит ни в одной описи, — и узнаёт об этом в момент выноса.

Не знаю, имущество это или повестка.

И ещё, отдельно: у Кости есть Валя. Спросить бы у неё, была ли его боль только его».

Глава 9. Открытый файл

Четвёртую правку обнаружил портной.

Вернее, не портной — приёмщица в ателье, куда Матвей понёс осенний пиджак, разошедшийся по шву. Она повертела пиджак, приложила к его плечам, нахмурилась и сказала буднично, между делом, фразу, которая стоила ему ночи:

— А чего ж он у вас так сидит-то? Смотрите: по спине висит. Вы в нём горбились, что ли, когда покупали? Носите-то как — распрямились?

Дома Матвей встал перед зеркалом в этом пиджаке и долго смотрел. Пиджаку было шесть лет. Шесть лет он сидел как влитой — на той спине, которая его покупала: на спине человека, смолоду научившегося занимать меньше места, чем выдано. Сутулость была не привычкой — осанкой извинения, телесным шёпотом; заикание строило его тело так же, как строило маршруты: голову чуть вниз, плечи чуть внутрь, не отсвечивать, не подставлять горло. Теперь из зеркала на него смотрел человек с прямой спиной, на котором собственный пиджак висел, как с чужого плеча, — и Матвей понял, что не может вспомнить, когда распрямился. Не было такого утра. Не было усилия. Тело переписали петитом, между строк, и он носил новую спину не замечая — недели? месяц? — пока швы старой одежды не разошлись по границе правки.

Он сел за дневник — записать четвёртую — и, записывая, увидел пятую. Ручка. Он писал этой шариковой ручкой с июня, каждый вечер, с нажимом; все ручки его жизни к третьей неделе выглядели как спасённые из зубов у собаки — он грыз колпачки с детства, со времён Инны Марковны, это был младший брат заикания, моторный, карманный. Колпачок был девственно цел. Он достал из ящика остальные ручки, старые, изгрызенные, — вещдоки, — и положил рядом с новой, как кладут в ряд гильзы.

Потом сидел и думал — тем особенным ночным способом, когда мысль идёт медленно и не туда, куда её посылали.

Правки мельчали. Это было главное, и это было хуже всего. Заикание — тридцать семь лет, конструкция, несущая стена. Слова-паразиты — отделка. Сны — уже роспись по штукатурке. А теперь: осанка, грызеная ручка — соринки, пылинки, то, что корректор снимает со страницы ногтем, почти не глядя. Почти не глядя — неверно, поправил он себя. Наоборот. Крупную ошибку видно с любого расстояния; чтобы увидеть изгрызенный колпачок, надо поднести страницу к глазам. Правки мельчали не потому, что чтение теряло интерес. Потому что оно набирало разрешение. Его читали уже не построчно — побуквенно, с лупой, как читают текст, который зачем-то важен.

И тогда он позволил себе додумать мысль, которую месяц держал в прихожей.

Бежать. Он честно развернул её во всю длину, по-переводчески, со словарём: что значит «бежать» в его случае. Деревня без сети, изба, печка, ни одного контура на сто километров — он даже знал, где такие ещё есть, переводил однажды буклет для туристов. Он представил себя там во всех подробностях, вплоть до колодца, — и на колодце конструкция рухнула. От кого прятаться? Прятаться можно от того, кто ищет. Корректор не искал. Слежка, погоня, обнаружение — весь этот словарь принадлежал миру, где преследователь и жертва существуют отдельно и между ними есть расстояние, которое можно увеличить. Между ним и корректором не было расстояния, которое можно увеличить, потому что не было расстояния вообще: рукопись не может отодвинуться от чтения. Страница, увезённая в лес, остаётся страницей — в лесу её просто дочитают без свидетелей. Вот и вся разница, подумал Матвей: бегство меняло не его судьбу, а только количество людей, которые заметят правку. В городе оставался хотя бы Павел Константинович с его слухом на дикторов. В избе не осталось бы никого — открытый файл, дочитываемый в тишине, при одной керосиновой лампе.

Открытый файл. Он записал это в дневник и посмотрел на слова. В них было ещё одно содержание, поважнее бегства, и он его выписал отдельно: правка № 12 не закончена. Он думал о себе месяц как о месте преступления — прошедшее время, кража состоялась, вор ушёл. Неправда. Вор не ушёл. Заикание, «ну», сны, спина, колпачок — это не пять краж, это одна, длящаяся; не взлом — чтение, и оно продолжается прямо сейчас, в эту минуту, побуквенно, и будет продолжаться до конца страницы, а на странице, дальше по тексту, стояла прорубь — четвёртым пунктом, со знаком вопроса, только знак вопроса таял с каждой мелкой правкой, потому что чтение с лупой не пропускает главного.

А ещё дальше — и вот тут Матвей встал из-за стола, — дальше стоял не он один. Четверги за лето стали его расписанием — прошло уже пять, — и кружок он знал теперь по именам и по утратам. Юноша. «Пусть плохое, но моё» — за четыре захода. Очередь была не метафорой: если корректор перешёл на людей и читает побуквенно, то где-то в его тексте, страницей раньше или позже, стоял мальчик, который не хотел, и Ася, которая хотела обратно, и Костя со своей картой тела, — и ни у кого из них не было ничего, кроме плохого чая по четвергам и тетради в клеёнке. «Подумайте, кому словарь нужнее». Иероним, старый снайпер, положил эту фразу ровно туда, где она должна была взорваться, — с задержкой в месяц, среди ночи, между гильзами от ручек.

Матвей выдвинул ящик и достал коммуникатор.

Прямая линия оправдала название: Вера Ланге ответила на четвёртом гудке, ночным, но не сонным голосом — голосом человека, который в половине второго сидит с данными.

— Олышанский, — сказал Матвей. — Не разбудил?

— Нет. — Пауза длиной ровно в удивление. — Я слушаю вас, Матвей Андреевич.

— Я согласен. С одним условием, и оно не обсуждается. Я не еду к вам образцом. Обследуемым — пожалуйста: снимайте что хотите, пишите мою речь хоть круглосуточно, я подпишу любой протокол. Но параллельно я работаю. Как исследователь, в группе, с доступом к данным — ко всем двенадцати правкам, к сигнатурам, к архивам. У меня есть метод, которого у вас нет, и есть материал, которого нет ни у кого, — он у меня вместо неврологии. Я хочу читать его так, как он читает нас. Если для этого нужна ставка, степень, комиссия — организуйте. Если миссия хочет витрину — разговор окончен, ищите другого правленного, скоро их будет достаточно.

Он выговорил всё это одним дыханием и услышал в трубке короткий звук — не смех, выдох.

— Согласована, — сказала Вера.

— Что?

— Ваша ставка. Согласована одиннадцать дней назад. Приказом по аналитическому контуру, «консультант по семиотике аномальных воздействий», я формулировку сама писала, лучше не придумала, простите. — Она помолчала. — Я была уверена, что вы позвоните. Не потому, что хорошо вас знаю. По другой причине, и я обязана её назвать до того, как вы подпишете, — потому что после будет выглядеть, будто я вас поймала. За время... за это лето он внёс ещё две правки. Тринадцатую и четырнадцатую. Обе — люди. Амплитуды — ноль целых восемь десятитысячных и меньше: мы взяли их на пределе чувствительности, триангуляция заняла восемь суток, и я не уверена, что мы берём все. Понимаете, что это значит? Возможно, есть пятнадцатая, и шестнадцатая, и двадцатая, которых мы просто не слышим. Он читает быстрее, чем мы учимся слушать. — Голос у неё был ровный, и ровность эта стоила усилий. — Так что я согласилась бы на любое ваше условие, Матвей Андреевич. Торговаться мне нечем: очередь растёт, а словарь у нас один, и он ваш.

Матвей стоял посреди кухни с прямой чужой спиной и смотрел на своё отражение в тёмном окне.

— Кто? — спросил он. — Тринадцатая и четырнадцатая. Кто они?

— Женщина шестидесяти двух лет и девочка девяти. Больше по телефону не скажу, материалы получите на месте. — И, помедлив: — С девочкой... с девочкой вам будет трудно читать материалы. Мне было трудно.

— Когда вылет?

— Ближайшее орбитальное окно — вторник. Я пришлю всё утром. — Она снова помолчала; ночные паузы у неё были другого состава, чем дневные. — Матвей Андреевич. Я рада, что ошиблась в вас в мае.

— Вы не ошиблись в мае, — сказал Матвей. — В мае я был обокраденный, который хлопнул дверью. Я и сейчас он. Просто выяснилось, что вор ходит по всему дому, а дверей в доме нет. Спокойной ночи, Вера.

Он положил коммуникатор — уже не в ящик, на стол, третьим в ряд, к диктофону и дневнику, — и открыл дневник на чистой странице. Писать полагалось про день: ателье, спина, колпачок. Вместо этого он вывел сверху, с нажимом, целым колпачком, короткое:

«Еду не свидетелем. Переводчиком.

Глава 10. Порог

Сборы заняли вечер, и большую его часть Матвей просидел над вопросом, который не значился ни в одной памятке для отбывающих на орбиту: что берёт с собой рукопись, когда едет на собственное чтение.

Памятка миссии разрешала семь килограммов личного. Он разложил их на столе и долго смотрел. Диктофон с архивом — два кило, не обсуждается: единственный уцелевший экземпляр Ольшанского М. А. должен был находиться при Ольшанском М. А., как находится при беженце единственный документ. Дневник в клеёнке — близнец семинарской летописи, он купил такой же нарочно. Пачка бумаги, шариковые ручки — новые и три старых, изгрызенных, вещдоки; он взял их, сам себе не объясняя зачем. Фотография: январь, санки, коричневое пальто, оба щурятся. Всё вместе тянуло кило на четыре. Оставшиеся три килограмма нормы он так и не набрал — стоял над раскрытой сумкой и понимал со странным, почти весёлым опустошением, что больше у него ничего нет. Тридцать семь лет жизни, упакованные с запасом по весу. Остальное имущество не взвешивалось: оно либо уже было вынесено, либо стояло дальше по тексту и ждало.

В четверг он пришёл на семинар прощаться.

Он рассказал им всё теперь — про эллипс, про Веру, про ставку со смешной формулировкой, про вторник. Кружок выслушал молча, по-здесьнему, не перебивая, и реакция разделилась предсказуемо, по церквям: Нина Сергеевна просила «передать спасибо, если получится», и была, кажется, единственным человеком на планете, отправлявшим благодарность на гелиопаузу с оказией; Костя сказал: «Спроси его про карту. Почему он решает, что на карте лишнее», — и это была не просьба, а наказ, тяжёлый, как рукопожатие. Аркадий Петрович потребовал доступа к методологии триангуляции («хоть посмертно, хоть под подписку — я должен видеть, как они считают фон!») и получил от Матвея честное «попробую». Ася не сказала ничего, только кивнула.

Юноша-заика подошёл последним, уже в дверях, и молча протянул сложенный вчетверо листок. Писать он, по-видимому, сел заранее — почерк был медленный, продавленный, каждое слово стояло отдельно, как выговоренное с разбега:

«Вы будете с ним говорить. Все будут просить: оставьте нас. Или: исправьте нас. А вы спросите то, что поп читал. Спросит ли он. Хоть раз. Хоть одного. Если спросит — я, может, даже соглашусь. Но пусть спросит».

Матвей вложил листок в дневник, между страницей с летописью четверга и страницей с гильзами. Иероним проводил его до ворот, под дождь — дождь в этом сюжете шёл, кажется, всегда, когда они виделись, — и на прощание не благословил и не напутствовал, а сказал деловито, как коллега коллеге:

— Пишите от руки. Оба экземпляра держите врозь. И вот ещё что, Матвей Андреевич: когда начнёте его понимать — а вы начнёте, вы из понимающих, — в какой-то момент вам сделается хорошо. Понимание — самое сильное из хороших чувств, сильнее любви, я проверял. Так вот, в этот момент вспомните, пожалуйста, про купальню. Понять — не значит соглашаться. У чтения с этим просто: читаешь — соглашаешься. А вы не читатель, вы переводчик. Переводчику присягать не положено.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.